

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ЦАРЬ И
ГЕТМАН

Россия державная

Даниил Мордовцев

Царь и гетман

«Public Domain»

1880

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Мордовцев Д. Л.

Царь и гетман / Д. Л. Мордовцев — «Public Domain»,
1880 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02860-1

Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как художественные, так и документальные, всегда с большим интересом воспринимались современным читателем, неоднократно переиздавались и переводились на многие языки. В данном томе представлен роман Мордовцева «Царь и гетман». В нем автор раскрывает сложные отношения Петра I и гетмана Мазепы, а также проливает новый свет на события Полтавской битвы, затронувшие судьбы русского, белорусского, украинского и польского народов.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02860-1

© Мордовцев Д. Л., 1880
© Public Domain, 1880

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	11
III	16
IV	21
V	34
VI	40
VII	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Даниил Лукич Мордовцев

Царь и гетман

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

* * *

Часть первая

I

Царь Петр Алексеевич осматривает работы, производимые под наблюдением старого Виниуса в новоотвоеванном у шведов Шлиссельбурге.

Работа идет напряженно, нервно, сообразно той страстной возбужденности, с которой неугомонный царь в своем меркуриевом беге за Европою делает каждый свой быстрый шаг, кладет кирпич на кирпич в этой вавилонской башне, в которую он обратил всю Россию, как бы желая скорее добраться до неба, захватить у времени и у истории все, что потеряла Россия в течение не одного столетия спячки, застоя и внутренних неладиц.

Со всего северо-восточного клина России согнаны десятки тысяч рабочих к этому крепкому Орешку, который, как прославляли хвалители царя, удалось, наконец, разгрызть все-сокрушающим зубам российского льва. Тысячи тачек неистово скрипят своими немаяными колесами, «словно лебеди распушенные». Тысячи лопат в несколько часов срывают до основания горы и в других местах громоздят новые: не надо там, где было, – надо там, где не было. Надо все сызнова, с корня, с листьев до почек перевернуть старое дерево...

А царь-непоседа все торопит, все гонит, показываясь с своею геркулесовскою дубинкою то на том месте работ, то на другом. То падает его гигантская тень с крепостной стены на воду, на насыпи, то вырастает вдруг словно из земли между землекопами в канавах, и рабочие вздрагивают при виде этой колоссальной фигуры, и лопаты, тачки, заступы, топоры шибко, лихорадочно двигаются, словно бы в такт учащенному биению пульса великана, который заставляет учащенно и усиленно биться пульс всей Русской земли.

Глубокой осенью 1702 года взята была с бою Шлиссельбургская крепость у неподатливого шведа Шлиппенбаха, а теперь уже весна, апрель – реки и моря вскрылись, и шведы не сегодня-завтра могут прийти водою к Орешку и взять его обратно... О! Это значит взять у Петра его любимое новорожденное детище, его новую Россию... Ведь этот ковш воды – это ковш живой сказочной воды, отнятой у шведского ворона... Эта паутина Невы – это ариаднина нитка¹, которая приведет Россию к золотым яблокам Геспериды-Европы²... Эта пядь земли, этот маленький «шлиссель» – ключ, Орешек – это ключ в Европу, ключ апостола Петра, который отопрет царю Петру и его России двери в рай... И после этого утратить эту дорогую пядь земли!.. Ни за что! Никогда!..

Вот почему так лихорадочно горят глаза у беспокойного царя при виде этой нервной работы землекопов и каменщиков...

Прислонившись к одной из башен крепости, Петр задумчиво глядит вдаль. Он одет так просто, так бедно такое грубое темно-зеленое сукно у него на кафтане, такое грубое, что когда немка Аннушка, Монцова³ дочь, при виде его бросается ему на шею, то всегда поколет себе об это сукно и нежные ручки, и розовые щечки; но зато это – свое сукно, не заморское, не астрадамовское, а сделанное на первой русской суконной фабрике... Энергичное лицо царя от времени до времени нервно подергивается. Перед ним влево даль водная, все Ладожское

¹ Ариадна – в древнегреческой мифологии – дочь царя Минеса; помогла афинянину Тесею выйти из лабиринта Минотавра, вручив ему клубок ниток.

² Гесперида – сестры-нимфы Геспериды, дочери Атланта, обладательницы дивных садов, где в том числе росла и яблоня Юноны с золотыми яблоками вечной юности, подаренная ей Геей в день свадьбы Юноны и Юпитера.

³ Аннушка Монцова – Монс Анна Ивановна, дочь виноторговца. Есть свидетельство, что прусский посланник Кейзерлинг просил ее руки в 1703 г. у Петра, но получил отказ. Вступить в брак Анне Монс и Кейзерлингу удалось лишь в 1711 г. Через полгода умер Кейзерлинг Анна Ивановна умерла от чахотки в 1714 г.

озеро искрится на солнце серебряною рябью... Вдоль берега его – флотилия из лодок... Жалкие лодки, и ни одного корабля!.. А вправо эта нитка водяная, эта синяя паутина, протянутая в Европе, – Нева... Но Нева еще не вся его, устье в руках у шведов, и море заперто для этого водяного царя... Добраться до моря нельзя, там стоит проклятый Ниеншанц, это дьявол с огненным мечом, не пускающий в рай... Надо его взять, этого дьявола... А как еще возьмешь?.. Шереметев⁴ скоро прибудет с войском... Ну а если и тут ждет новая Нарва?.. Петр вздрогнул и машинально так стукнул геркулесовской дубинкой о стену, что молоденький денщик его, юноша лет восемнадцати-девятнадцати, чернокудрый Павлушка Ягужинский⁵, молча наблюдавший за царем своими живыми, бегающими еврейскими глазенками, тоже невольно вздрогнул... Тут и Александр Меншиков, боящийся прервать задумчивое молчание царя... Петр зол, заряжен, он нервно подергивается: он шибко осерчал на старого Виниуса⁶, на его медленность. Он чуть со стены не сбросил обезумевшего от страха старого дьяка за недоставку артиллерийских снарядов и лекарств для крепости, которую не сегодня-завтра могут обложить шведы...

Вдруг, распаленные внутренним огнем, взоры царя останавливаются на чем-то, что, по видимому, не было замечено прежде. Павлуша Ягужинский с юношеским любопытством рассматривает что-то копошащееся под стеною крепости, у нового канала.

А у канала мальчик в лохмотьях. Мальчику не более семи-восьми лет. Оборвыш чем-то серьезно занят. Живые глаза царя невольно приковались к тому, что делал этот оборвыш. А оборвыш, оснастив веревочками лапоть, поставив на нем мачту из большого гусяного пера и натянув из лоскутка онучи парус, перепускает это оригинальное судно через канал. Лапоть, подгоняемый ветерком, бойко плывет через канал. Оборвыш радостно следит за ним своими детскими глазенками и по положенным через канал доскам торопливо перебегает на ту сторону канала, чтобы причалить свое судно-лапоть. Так же радостно следят за проделками маленького оборвыша и живые глаза царя. Лицо его, доселе хмурое, мрачное, темное и холодное, мгновенно озаряется какою-то теплотой, так был на нем быстр переход от мрачного гнева к всепрощению.

– Смотри-тко, Данилыч! – сказал он отрывисто, показывая на маленького оборвыша.

– Вижу, государь... молодой матрос...

– Навигатор, – вставил Павлуша.

Ртутный царь не вытерпел и сошел со стены к каналу. Маленький оборвыш, увидев перед собой громадного человека, такого большущего, какого он ни разу не видел в жизни, так и остался с разинутым ртом, изумленно посматривая на этих, как ему казалось, солдат.

Царь ласково улыбался, глядя на маленького оборвыша, одетого в женскую кацавейку и в опорки.

– Это что у тебя, малец? – спросил он.

– Карапь, – бойко отвечал мальчик.

Царь засмеялся. Павлуша Ягужинский даже прыснул.

– А из чего он у тебя сложен? – снова спросил царь, трепля мальчика по бледной, обветренной щеке.

– Это тяткин лапоть, а это онучка моя.

⁴ Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – боярин, участвовал в крымских и азовских походах, во время Северной войны командовал успешно корпусом в Прибалтике. Первый мальтийский рыцарь. Единственный из членов Сената не поддержал смертный приговор царевичу Алексею Петровичу.

⁵ Ягужинский Павел Иванович (1683–1736) – сын пастора, был органистом в лютеранской церкви. Сознательно или по ошибке автор включает в его биографию фрагменты биографии П. П. Шафирова. Ягужинский был известен как честный и совестливый человек, с 1722 г. генерал-прокурор Сената.

⁶ Виниус Андрей Павлович (1641–1717) – принадлежал к близким друзьям Петра I, возглавлял Аптекарский, Сибирский, Артиллерийский приказы. В 1703 г. был разжалован по подозрению в хищениях.

– Ай да молодец! Ай да моряк! – радостно говорил царь.

Но мальчуган что-то заботливо бросился к лаптю, бормоча: «Ишь ты, шведин поганый!.. Пстой, я тебя!..» В лапте возилось что-то черненькое.

– Что это там у тебя в корабле? – спрашивает царь.

– А шведкой полоняник...

– Как? Какой полоняник?..

– Он царский корм воровал, я и накрыл его... Стой-стой, опрокинешь карапь.

– Да что у тебя там? Говори! – уже нетерпеливо спрашивал Петр.

– Мышонок... он у нас в сумке сухари все грыз... А тятка и говорит: это швед царский корм ворует... Я его и поймал, привязал на веревочку и катаю по морю, а после кошке отдам.

Бойкий мальчик, не подозревая, кто перед ним, смело болтал, видя, что всех занимает его «карапь», и вынул из лаптя самого мышонка... «Вот он, шведин... ишь, юркий какой...»

Мальчик окончательно очаровал царя. Он видел в нем врожденное стремление к воде, к морю. Это самородок. Его только поддержать, выучить, направить, и из него выйдет мореходец.

– А чей ты, мальчик? Как тебя зовут? Откуда ты? – нетерпеливо спросил царь.

– Меня зовут Симкой... Нас с тяткой сюда пригнали на царскую работу... Тятка там землю роет.

Царь задумался и молча глядел на мальчика. При виде его рубищ, которых он никогда не замечал, как по привычке не замечал жалкого вида рабочих, широко загадывая обо всей России, о ее славе и могуществе, при виде дырявой кацавейки и старых порток, через которые сквозило маленькое, худощавое тело ребенка, он нервно потряхнул головой и, достав из кармана несколько серебряных монет, бросил их в лапоть.

– Это тебе и тятке, скажи, что царь пожаловал, – сказал он отрывисто и погладил ребенка.

Мальчик оторопел и обратил на великана свои серые, светлые, испуганные глаза.

– А ты, Павел, запиши его вместе с отцом: кто и из каких волостей, – обратился он к Ягужинскому.

Мальчик по-прежнему стоял испуганно, не смея прикоснуться к лаптю.

– Возьми же деньги, Сима, не бойся... Я пожаловал их тебе, – ласково сказал он мальчику. – А ты, Данилыч, не забудь о нем...

– Не забуду, государь.

– Запиши его в мои навигаторы, в московскую школу.

– Будет по сему, государь, – отвечал Меншиков.

В это мгновение на досках, перекинутых через новый, узкий, но глубокий канал, по которым за несколько минут перед этим перебежал Симка за своим кораблем, а потом переходили царь, Меншиков и юный Ягужинский, послышался крик испуга, и что-то тяжелое бухнуло в воду...

– Караул! Караул! – слышались отчаянные крики.

В канале кто-то барахтался, беспомощно хлопая об воду руками и глухо взывая о помощи... Из воды показывается еще одна голова, потом другая... Все это отчаянно мечется, утопающие хватаются один за другого... видна последняя, безумная, молчаливая борьба из-за последнего дыхания, и все трое исчезают под водой...

Царь первый бросается спасать утопающих... Но как? Чем?

– Лодок! Багров! Сети! – кричал он громовым голосом, так что вся крепость встрепенулась, тысячи рабочих, солдат и матросов бросились к каналу, заслышав крик царя, и некоторые матросы отважно ринулись в холодную апрельскую ледяную воду...

– Лодок! Багров! – гремит голос царя. – Кто утонул?

– Доктора Лейма, государь, я опознал, – отвечает Меншиков.

– А я, государь, видел Кенигсека и Петелина, – прибавил Ягужинский.

– Господи! Какое несчастье!

Но вот и лодки с баграми... В одну из них прыгает царь с такою поспешностью, что едва не опрокидывает ее; да ему это нипочем, он любит воду.

– Государь!! Береги себя! – кричит испуганно Меншиков.

– Ищи там! Подавайся ниже!..

Лодки бьются на месте, толкуются в узком канале, словно в ступе, а утопленников все не найдут.

– Спускай ниже! Их водой несло... подайся сюда! – командует царь, бороздя воду длинным багром.

Лодки стукаются одна о другую. Меншиков постоянно повторяет, чтоб берегли царя. Берега канала усыпаны народом, который напряженно ждет... Иные крестятся.

– Кто утонул?

– Немцы, паря.

– Туда им, куцом, и дорога, – отзывается кто-то.

Наконец, багор царя зацепил что-то, тащит... Из воды показывается что-то серое... спина человеческая, а голова и ноги в воде... Приподнимается багор выше, виден затылок утопленника и черные, мокрые волосы, падающие на лицо...

– Благодарение Богу... Кенигсек, бедняжка...

Царь быстро схватывает его за шиворот и втаскивает в лодку.

– Ищи других, тут должны быть, – распоряжается царь.

– Не клади, не клади, царь-государь! – торопливо предупреждает старый матрос. – Не клади наземь, не отойдет, не откачаешь.

– Качать! Качать! – слышатся голоса.

Лодка пристает к берегу. Утопленника, словно мешок, слабо набитый чем-то мягким, с рук на руки сдают стоящим на берегу. Царь, проворно сбросив с своего громадного тела кафтан, в который можно было завернуть двух утопленников, кидает его на берег.

– Качайте на моем кафтане!.. А ты, Данилыч, обыщи его карманы, может, есть важные бумаги, государственные, запечатать надо тут же...

– Еще тащут! – дрожит толпа. – Вон, вон, матушки!

Снова из-под воды показывается что-то скомканное, перегнутое, мертвое, но еще не окоченевшее... А Кенигсека кладут на царский кафтан. Меншиков, исполняя приказ царя, опоражнивает карманы утопленника и найденные у него мокрые бумаги тут же вкладывает в небольшой сафьяновый портфель и отдает Ягужинскому.

– Запечатай тотчас и сохрани.

Кенигсека качают. Беспомощно переваливается мертвое, посиневшее тело по кафтану. Из-за спутавшихся мокрых волос, падающих слипшимися прядями на лицо, видны красивые очертания этого молодого, еще за несколько минут полного жизни лица... теперь оно такое серьезное, молчаливое, застывшее...

– Лекаря бы надо, – с беспокойством говорит Меншиков, сильно встряхивая царский кафтан.

– Да вон и лекаря тащут, – отвечает юный Павлуша, который все видит и все слышит.

Действительно, из другой лодки выносят на берег другого утопленника – это доктор Лейм... Отыскивают, наконец, и Петелина...

В трех местах на берегу канала идет энергическое качанье трех свежих трупов. Петр не спускает глаз с Кенигсека. Ему особенно жаль его, надо во что бы то ни стало оживить этого мертвеца, откачать, отнять у смерти... Она еще не успела его далеко унести... Душа его тут, близко, может быть, за теми плотно сжатыми красивыми губами... Стоит только их разжать, и они порозовеют, язык заговорит, душа скажется... Петр трогает эти губы, холодные такие, мертвые...

Кенигсек, или Кенисен, как называл его Петр, был саксонским посланником при русском дворе; а недавно, прельщенный выгодами службы в России, он поступил в русское подданство, и Петр был очень рад приобрести себе такого служаку... И вдруг, на глазах его, он погибает! Это большая потеря...

Но, может быть, он отойдет... Он так недолго был под водой... Правда, вода ледяная, режет, обжигает своим холодом.

– Что, Данилыч?

– Трясу, государь... Душу, кажись бы, всю вытрясти можно, кабы...

– Кабы не отлетела?

– Да, государь.

Царь нагибается к труп, щупает голову мертвеца – холодна, как глыба. И тело коченеет.

– Помре... Царство ему небесное... – Царь снимает шляпу и крестится, крестится и толпа. – Вот не ждали, не гадали... Вместо радости печаль.

– Надо же было, государь, немецкому водяному и жертву принести водою и немцами, – заговаривает Меншиков.

– Правда... правда... А все за мои грехи.

– За всех, царь-государь.

– А бумаги вынул?

– Вынул, государь... У Павлуши.

Но царю некогда долго останавливаться на этом печальном эпизоде. Надо спешить вперед. Шереметев с войском, поди, уж у Ниеншанца. Надо с легкой флотилией плыть на сикурс⁷ к нему.

Царь велит с честью похоронить утопленников и готовиться в поход под Ниеншанц.

– А об Симке не забыли? – вспоминает царь о маленьком оборвыше.

– Нет, государь, – отвечает Меншиков. – Неумедлительно иду сыскать его отца и все учиню, как ты, государь, указать изволил.

– Изрядно. Тут потеряли, а там, может, Бог даст, найдем.

– Истинно, государь: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

– Дай Бог... Кто знает, что может из Симки выйти. Пути Господни неисповедимы...

⁷ Сикурс – помощь.

II

В то время, с которого начинается наше повествование, весной 1703 года, Петербурга еще не существовало. Нева принадлежала шведам, равно как и все Балтийское море, и только небольшой камень, на котором, при выходе Невы из Ладожского озера, ютилась шведская крепость Нотебург, древний новгородский Орешек, – был взят Петром, укреплен и переименован в Шлиссельбург вместо Орешка. Петру так нравились немецкие названия.

После Шлиссельбурга надо было во что бы то ни стало отвоевать и всю Неву. С этой целью, похоронив Кенигсека и других его несчастных товарищей по смерти, он двинул свою лодочную флотилию вниз по Неве, с тем чтобы идти на помощь Шереметеву, который с двадцатипяти тысячным войском тоже подвигался к Неве, имея намерение напасть на Ниеншанц, стоявший при впадении речки Охты в Неву. На месте же нынешнего Петербурга чернел сплошной дремучий лес.

Лесом покрыты были и все берега Невы вплоть от Ладожского озера до устья реки, до Финского залива.

Спускаясь с своей небольшой гребной флотилией вниз по Неве, Петр был глубоко взволнован всем, что видел перед собою. Угрюмый бор, покрывавший берега реки, он уже превращал в пылком воображении своем в бесчисленные армады кораблей, и эти армады будут не чета Непобедимой армаде Филиппа II, короля испанского. Нет! Его армады будут действительно непобедимы... А эта многоводная река, по которой скользила его флотилия, такой реки он не видал во всей Европе. Что Волга! То река неустойчивая, с расползающимися, песчаными берегами. А Нева – она точно закована в свои берега и несет постоянную, неубывающую массу воды в то заманчивое, чужое, Варяжское море... О! Тут, на этой реке, должна быть столица России...

И пылкое воображение царя уносится вдаль, в глубину грядущих веков... При устьях Невы видится ему величавый город, столица восточных царей, к которой обращены удивленные взоры всего света. Со всех морей и океанов, от всех народов Старого и Нового Света плывут корабли в этот величавый город, в город Петра... Петроград... Нет, это слово противное, Москвой затхлой пахнет, византийским ладаном отдается. Не быть тут Петрограду, довольно и византийского Царьграда... А будет тут Россенбург или Ризенбург, город богатырей... Нет, пусть лучше будет тут Петербург... Да, это лучше всего... Он будет славен, более славен, чем Тир и Сидон⁸, более славен, чем Рим и Карфаген... Он будет весь на воде, как Венеция. Каналы изрежут его вдоль и поперек... Вода, море-океан станут колыбелью российского народа...

А флотилия, взмахивая длинными веслами ловких гребцов, словно стая длиннокрылых птиц, неслышно пенит прозрачную невскую воду. С каждым взмахом весел, с каждым поворотом руля открываются новые пустынные берега, окаймленные зелеными борами, а выше – голубым небом... На берегах ни души человеческой, да и пения птиц не слышно, хотя самая пора бы петь и птице, и человеку: апрель на исходе... Только и виднеются над водой длиннокрылые, белогрудые чайки, которых жалобный скрипучий крик, совсем не похожий на крик серой, чубатой южной чайки, нарушает могильную тишину этой красивой, но холодной, неприветливой природы...

На царском катере, на низеньком сиденье, почти у самых ног царя сидит Павлуша Ягужинский и грустно смотрит на эти неприветливые берега, на эту красивую, но холодную природу. И ему вспоминается другая природа, другая зелень, другое солнце... Как ни молод он, но и у него уже есть свои воспоминанья, свои могилы в сердце. Жизнь его, начавшаяся где-то далеко на юге, в Польской Украине, среди чубатых и усатых казаков, и, как нитка, обо-

⁸ Сидон и Тир – богатейшие торговые города древней Финикии во 2 тыс. до н. э. В наше время Сур и Сайда в Ливане.

рвавшаяся там полным забвением, потом та же жизнь в шумной, толкучей Москве, перенесшая его словно на ковре-самолете сюда, в эту холодную Карелию, – эта жизнь оставила в его памяти какие-то клочки воспоминаний, смесь ощущений сладостных и горьких, смешение веры в людей и глубокого к ним недоверия, эта жизнь научила его думать, задумываться, вспоминать...

Да, Павлуша Ягужинский рано начал думать. Еще там, на далекой, теплой родине, которая вспоминается ему как сонная греза, он уже начал задумываться. Чем-то сиротливым, чужим рос он среди родной природы, которая была ему более близка, более отзывчива, чем люди. Эти гордые, надутые маленькие польские панки, его сверстники, чуждались его, как неродовитого шляхтича, у которого не было ни холопов, ни быдла, ни грунту, ни палаца, ни богатых маентков, хоть его, Павликов, татко был такой же благородный, как и те надутые паны, но только не был ясновельможным паном, а учителем и музыкантом. И эти черномазые хохлята, отцы и матери которых работали на панов как быдло, тоже избегали Павлушу Ягужинского... «Жидовиня», «лядский недовирок», «перекинчик», «собача вира», «свинячье ухо» – вот что он слышал среди этих чумазных хохлят и недоумевал, за что они его не любят... «Жид», «жид»... нет, не жид, потому что и жиденята бегают от него, как от чужого...

Вот что помнится ему из далекого детства... Еще помнится ему его отец, вечно грустный и задумчивый, сидящий над какими-то старинными книгами или в тихий летний вечер играющий на скрипке... Что за плачущие звуки лились тогда из-под горького смычка татки! Слушает, бывало, маленький Павлик эти всхлипывания смычка, слушает, и у самого польются слезы неведомо отчего... И становится маленькому Павлику жаль всего, на что он ни взглянет, хочется ему обнять все плачущее, утешить...

Татко говорил потом, что когда они жили еще в Польше, за Днепром, то Павлику пошел только пятый год. А он помнит эти зеленые иглы – тополи высокие, что вели к панскому палацу...

Потом он помнит себя уже в Москве. Помнит, как с татком ходил он в немецкую кирку, где татко тоже играл, но уже не на скрипке, а на органе. На скрипке он продолжал играть только дома, да и то осторожно, потому что нередко слышал, как москвичи говорили: «Вон немецкий пес воет – себе на похороны, на свою голову...» А московские мальчишки дразнили Павлика «нехристом» и нередко бросали в него камнем. За что? Павлик и об этом часто думал. Но чаще и чаще до слуха Павлика начинают долетать слова: «какое красивое чертово отродье», «какой хорошенький жиденок», «немчура, немчура, а поди ты, зело леповиден бесенок...».

Павлик учится читать, писать, чертить, рисовать... Татка его так много знает и сам учит Павлика...

И Павлик все растет, вытягивается, хорошо уже говорит по-московски, попривык к Москве.

А в Москве так страшно становится, такие зловещие слухи ходят... Говорят, что стрельцы всех немцев, всех нехристей перебить хотят... А там какие-то смуты в Кремле: то царя хотят убить, то царевну Софью заточить... Стоном стонет Москва, страшно кругом...

А эти ужасные казни стрельцов... Едут на телегах с зажженными свечами в руках, а за ними бегут стрельчихи да воют, душу разрывают – воют... Какая страшная Москва!

– Что, Павлуша, задумался? По Москве, чаю, скучаешь? – говорит царь, ласково глядя на юношу.

Павлуша невольно вздрогнул. Он действительно думал о Москве, только страшной, кровавой, стрелецкой.

– А? Заскучал, поди, по Москве?

– Нету, государь, не скучаю, – отвечал юноша, к которому разом воротилось его привычное самообладание.

– То-то! Со мной скучать некогда.

– Некогда, государь, да и неохота.

– Правда. Скучают только дармоеды да лежебоки. А мы не лежим, – отрывисто говорил царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.

Юноша молчал. Слова царя так и обдали его холодной действительностью... Царь был в духе.

– А что, хотел бы ты тут жить? – снова спросил он своего юного любимца, лукаво улыбаясь.

– Где государь поволит жить, там и я.

– Так... А может быть, Бог и доведет до благополучного конца, – сказал царь в раздумье. Это сами собой сказывались его заветные думы, его мечтания.

А флотилия все скользит неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, неприветливой реки. Тихо кругом. Ни говору не слышно, ни смеху, ни песен. Да и как петь, когда всякий час флотилия может наткнуться на шведские корабли, на замаскированные редуты, на засады?

Глаза царя зорко следят за всей флотилией. Ничьим другим глазам он не верит, верит он только своим глазам. Он сам хочет все видеть, все знать... Были только одни глаза, которым он доверял, как своим собственным, – это бойкие, живые глаза Павлуши Ягужинского.

– Это мое око, – часто говорил Петр, указывая на Павлушу, – коли Павел увидит что, то истина дойдет до меня такую же истиною, как ежели бы я сам ее видел.

А теперь Павлуша сидит такой задумчивый. Ему было нехорошо, страшно чего-то... И зачем утонул этот Кенигсек? Зачем эти проклятые бумаги он носил с собой!.. Когда Павлуша по приказанию царя запечатывал их, то он увидел между ними что-то такое страшное, отчего у него волосы стали дыбом, кровь застыла... Неужели же это правда?.. О! Как он желал бы, чтоб эти проклятые бумаги пропали, уничтожились, исчезли бы под водой вместе с трупом Кенигсека...

И Павлуша силился отогнать от себя это страшное, которое он видел в бумагах утонувшего Кенигсека. Он старался думать о своем прошлом... В этом прошлом был такой крутой перелом. И опять все это точно во сне было... Понравился Павлуша Головкину, Гавриле Ивановичу⁹, и он взял его к себе в жильцы¹⁰, в комнатные... «Такого смазливенького паренька, как Павлуша, всякому охота держать около себя на глазах, – говаривал, бывало, Гаврило Иванович, – и показать гостям есть что – малый бойкий...» И Павлуше жилось у Головкина не то хорошо, не то дурно, а надо было привыкать – дом знатный, можно в люди выйти... Зорко присматривается Павлуша ко всему, что около него, быстро все понимает, и Головкин не нахвалится Павлушей... Он его любит как сына, балует его, ласкает... И Павлуше вспоминается, что почему-то ему противно становилось от этих ласк... Но у Павлуши уже образуется характер будущего государственного человека: он уже многое знает, и знает, где что нужно сказать, где помолчать... Он все обдумывает, взвешивает, всему отводит надлежащее место...

Замечает Павлушу и царь у Головкина. Павлуша и царю нравится...

И вот Павлуша у царя на глазах, в денщиках его вместе с Ванькой Орловым... Только тот больше все за девками дворскими... А Павлуша ни-ни, не глядит на девок, как они ни заигрывают с ним... Одну только девушку не может забыть, да то не здешняя... Далеко она... а так вот и стоит перед глазами... Да и имя-то какое милое – Мотря, таких имен во всей Москве нет...

На днях только они воротились с царем из Воронежа. Царь осматривал там новые корабли, весел был, всех торопил, все ему хочется Азовское да Черное море себе завоевать, из

⁹ Головкин Гаврила Иванович (1660–1734) – родственник царицы Натальи Кирилловны, возглавлял Посольский приказ в правительстве Петра I, с 1718 г. президент Коллегии иностранных дел.

¹⁰ Жильцы – слуги, находящиеся на личной государевой (боярской) службе и проживающие на дворе хозяина.

Воронежа-то! Мало того, и султана турецкого воронежскими кораблями из Цареграда выгнать, а Дон-от соединить и с Волгой, и с Днепром, и с Двинами обеими, и с Обью – Дон-от. Вот чадушко! Со всеми концами света задумал Дон и Воронеж соединить... «И на тот свет, говорит, прокопаюсь – только б у меня помощники были!..» А Павлушу вместе с бывшим там, в Воронеже, по малороссийским делам, генеральным судьей Василием Кочубеем и с бумагами царь посылал из Воронежа к гетману, к Мазепе Ивану Степановичу; а гетман в то время гостил на хуторе у Кочубеихи в Диканьке... Вот там-то Павлуша и видел эту девушку, дочку Кочубея, ее-то и не может он забыть...

Вот и теперь от этой невской холодной пустыни мысль Павлуши отлетает в ту яркую зелень юга, в эту счастливую Диканьку... Апрель в начале, а уже все в цвету. Никогда Павлуша не подозревал даже, что так дивен и прекрасен может быть свет божий... Деревья – вишни, яблони, груши, терн – словно снежною, розоватою метелью засыпаны сверху донизу – хлопья, комья, горы этого снегу цветочного, куда ни глянешь, где ни ступишь... Деревьев не видать совсем, а виден только цвет, цвет, цвет без конца... Только ниже виднеется зелень, да и та вся усыпана цветами, живыми и умирающими, опавшими, завядающими... Это – цветочное море кругом! А птицы заливаются, господи! Павлуша так и затрепетал всем телом, когда очутился в этом раю... Разом как будто воскрес один день из его детства, из той золотой, забытой, застланной пеленою лет поры, когда они жили где-то далеко, там, за Днепром... Только не слышно плачущей скрипки доброго татка... Но зато поют птицы, столько голосов, столько мелодий неуловимых, столько подмывающего, доброго, нежного, сладкого, что, после московского холода и угрюмого молчанья природы, Павлуша не выдержал и, бросившись лицом на траву, зарыдал...

Вдруг он слышит, что кто-то тихо трогает его за плечо. В изумлении он приподымает голову и... не верит глазам: перед ним стоит русалка, не то богиня этого рая... и она вся в цветах, вся сияющая, как весна, как это дивное голубое небо... На волосах ее, густых и черных, как вороново крыло, корона из цветов. И коса ее вся переплетена цветами. Гирлянды цветов обвиваются вокруг шеи вместе с кораллами и спадают вниз по белой, шитой красными узорами сорочке... Смугло-белое, матовое, без румянца личико смотрит ласково, девушка открывает розовые губы, и из-за белых, мелких, как у мышки, зубок вылетают какие-то слова, не похожие ни на польские, ни на московские, но довольно понятные...

– Чого вы плачете? – спрашивает она.

– Так... мне хорошо... я не знаю, – бормочет Павлуша, боясь взглянуть на видение.

– Та вы ж с татком приехали?

– Нет... мой татко в Москве...

Павлуша заметил, что девушка улыбнулась.

– Ни, не ваш татко, а мий – Кочубей... Вин з вами вид царя приехав до пана гетьмана...

– Да... он... я, – лепетал Павлуша, все еще не пришедший в себя.

– Може, вас кто обидив у нас?

– Нет, никто, я так заплакал, вспомнил детство.

– А вам який рик? – спрашивала девушка.

Павлуша не понимает слово «рик» и молчит, глядя вопросительно в черные, детские добрые глаза.

– Год вам який? – допытывается девушка.

Павлуша понял.

– Мне восемнадцать уже исполнилось.

– Овва! А мени вже скоро симнадцятий буде...

В это мгновение за кустами мелькнула тень, и показалась бодрая фигура старика с седыми усами и живыми серыми глазами, которые, при постоянно понуrom лице старика, смотрели словно исподлобья, но смотрели бойко, лукаво и как будто приветливо... Это был Мазепа.

– Те-те-те! – весело заговорил гетман. – Вже моя дочечка з москалем женихается...

Девушка вспыхнула. Павлуша тоже стоял растерянный – он узнал Мазепу.

– От так дивка! От так Мотренька! Вже й пидчепила царьского денщика... Ото дивчача натура! – смеялся гетман, но смеялся немножко ревнивым смехом.

– Ну бо, тату... Вам бы все жарты¹¹, – заговорила девушка, надув губки.

– Яки жарты! У вас тут не до жарт...

– Та вони ж бо, тату, плакали...

А вон идет и сам хозяин сада – Кочубей, осыпанный, как снегом, цветом вишен, яблонь, груш... Господи! Какой рай, какие светлые видения...

И мысль Павлуши, плывущего по неприглядной, холодной Неве, переносится в этот край, и из хмурого северного леса выступают светлые видения...

– Павел, – вдруг пробуждает его голос царя.

– Что изволишь, государь?

– Бумаги Кенигсека запечатал?

– Запечатал, государь.

– Хорошо. После спрошу.

Опять проклятые бумаги... Быть беде, как он сам увидит это страшное...

¹¹ Жарт – шутка, балагурство.

III

Вечером того же дня, 24 апреля, флотилия пристала к берегу недалеко от устьев Охты, где Шереметев, во главе двадцатипяти тысячного войска, уже ожидал царя с флотским подкреплением. Царь прибыл не один, и не он командовал своим лодочным флотом: флотилиею командовал сам адмирал Головин, а в числе других командиров были Головкин и Меншиков. Царь всех их превратил в моряков, а сам носил звание простого бомбардирского капитана.

Ниеншанц был тотчас же обложен русским войском и со стороны суши, и со стороны Невы. Надо было торопиться взятием крепости, потому что шведская эскадра скоро должна была войти в реку с моря и спешить на помощь Ниеншанцу.

На другой день крепость была бомбардирована. Когда все было готово к приступу и всем начальникам частей отданы были соответствующие приказы – куда идти, где стоять, как действовать, царь подозвал к себе Ягужинского, который, как не принимавший еще непосредственного участия в деле и не получивший никакого особого назначения, стоял поодаль и беспокойно ожидал, что же будет дальше.

– Ну что, Павлуша, ты еще не видывал настоящей баталии? – спросил его царь ласково, взволнованным голосом.

– Не видывал, государь, – ответил юноша.

– Боишься, чай?

– Чего бояться?.. За тебя, государь, боюсь.

В холодных, быстрых взорах царя засветилась нежность. Он положил руку на плечо юноши.

– За меня не бойся... Меня хранит Бог для блага России... Молись Ему...

– Буду молиться, государь.

– Так стань там, к тому леску, и видно будет, и в безопасности находиться будешь.

Царь быстро повернулся, снял шляпу, набожно перекрестился и исчез в числе прочих, шедших на приступ.

Павлуша стал на указанное место. Крепость, Нева, спускающиеся по ней лодки,двигающиеся ряды войск – все это спуталось в его глазах, смешалось, потеряло всякий смысл... Он видел что-то неопределенное, непонятное для него...

Что-то глухо бухнуло, словно упало, оборвалось, разбилось... Это пушка... Буханье повторялось все чаще и чаще. Вот уже стелется дым над Невою... И на крепости, на стенах всплывают какие-то белые, громадные пузыри и лопаются с гулом. Это дым от пушек. Глуше и сердитее ревут пушки, и Нева стонет, и лес словно вздрагивает... Вздрагивает и Павлуша...

Он машинально крестится, но не знает, о чем молиться, что просить и за кого. Ему разом стало страшно за всех: и за тех, что рядами двигались к крепости, как бы подгоняемые громом, и за тех, неведомых ему, которых эти за что-то ненавидели и стремились убить их...

– Езус Мария! О! – послышался сзади его тихий стон.

Он с испугом обернулся и остолбенел от изумления. В нескольких шагах от него опять показалось что-то вроде того видения, которое поразило его в саду Диканьки, среди цветущей природы Украины. Но это было другое видение, хотя такое же прелестное, только без короны и цветов. Павлуша видел только большие черные глаза, которые его пугали своим каким-то глубоким и густым, так, по крайней мере, Павлуше казалось, блеском... Это была молоденькая девушка, высоконькая, плотная.

– Его убьют! Езус Мария! – повторила девушка как бы вопросительно.

– Кого убьют? – невольно спросил Павлуша. – Царя?

– Нет... царя я не знаю...

– Так кого же?

- Моего доброго господина.
- А кто твой господин?
- Мой господин – Александр Данилович.
- Меншиков?
- Да, Меншиков.

У девушки замечен был нерусский выговор. Но русские слова, как видно, она знала.

- А ты кто же? – спросил Павлуша.
- Я Марта Скавронска, из Мариенбург Меня русские в полон взяли. А ты кто?
- Я денщик царский – Ягужинский Павел. А ты у Меншикова теперь?
- У Меншикова. Он добрый.
- Что ж ты у него делаешь?
- Я служу ему.

Между тем канонада разгоралась. Слышался уже не стук отдельных ударов, а сплошной гул, который перекачивался из конца в конец, как удаляющаяся гроза.

Войско, предводительствуемое Борисом Шереметевым и ведомое молодыми русскими и преимущественно немецкими офицерами, извивалось вокруг маленькой крепости в виде огромной змеи, которая с каждой минутой суживала свое страшное кольцо и должна была скоро задавить жалкий Ниеншанц. Крепостные батареи, в большей части подбитые русскими ядрами, умолкали одна за другой. Казалось, что войско шло на мертвеца.

- Лют сегодня Борис, – послышался голос царя.
- Да добрым был ли он, государь, и от молодых ногтей?
- Подлинно так. Намедни доносит мне: «Послал-де я во все концы пленить и жечь, дабы-де помнили вороги твои, государевы, твоих ратных людей, как они-де чисто бреют».
- Да, крутенок Боря.

Это царь в сопровождении Меншикова ехал к другому концу поля битвы, чтобы ничего не оставить без внимания. Ягужинский и Марта увидели их. Узнав Меншикова, Марта радостно вскрикнула. Царь оглянулся.

- А! Это ты, Павлуша... А кто с тобой?

– Это Марфуша, государь, моя полонянка ливонская, – отвечал Меншиков, ласково взглянув на девушку, которая тоже глядела на него радостно.

Быстрым взглядом царь окинул интересную полонянку с ног до головы. Глаза девушки, встретившись с глазами царя, словно застыли: это был какой-то детский, полный глубокого удивления взгляд.

Царь тоже как бы изумился. Перед ним почему-то мелькнул образ Анны Монс... Точно Аннушка... Нет, не Аннушкины глаза.

- Как тебя зовут? – быстро спросил царь.
- Марта, ваше... ваше величество
- А кто твой отец?
- Самуэль Скавронски.

Девушка отвечала тихо, робко, не спуская глаз с вопрошающего, точно это была исповедь... По лицу царя пробежало нервное подергивание.

- Давно она у тебя? – спросил царь, быстро обращаясь к Меншикову.
- Недавно, государь.
- А при каком деле она у тебя?
- Портомоя...

Царь снова молча взглянул на девушку, потом на Ягужинского, пришпорил коня и скрылся. Ускакал и Меншиков.

Осыпаемая ядрами, не видя ниоткуда помощи, крепость недолго сопротивлялась. Петр широко перекрестился, когда увидел, что на одной из крепостных башен показался белый флаг.

– Пардону просит, – весело сказал царь, – я не чаял так скоро добыть ключи от рая.

– Ключи-то, государь, может, и добыты, да дверь-то в рай еще не отворена, – заметил Меншиков. – Может, она приперта изнутри...

– Что ты врешь, Данилыч! – сердито сказал царь.

– Не вру, царь-государь... Дверь-то райская не токмо засовом изнутри засунута, да и архистратиг Михаил за дверью с огненным мечом стоит.

– Что ты!

– Верно, государь, сейчас сам увидишь, погоди немного.

Сказав это, Меншиков удалился, а царь поскакал к тому месту, где Шереметев распоряжался осадой крепости.

Крепостные ворота скоро отворились, и престарелый шведский комендант вынес ключи на блюде.

Пока все это происходило, из обоза воротился Меншиков в сопровождении седого как лунь старика. Он был одет не как местный житель, не по-чухонски, а по-русски. Характерные лапти, покрой рубахи с косым воротом и волосы с подстриженной маковкой изобличали его национальность.

Старик молча приблизился к царю. Из старых, запавших, но еще светившихся жизнью глаз текли слезы. При виде царя старик повалился в землю.

– Встань, старик. Говори, кто ты такой и зачем пришел к нам? – спросил царь.

Старик поднялся и, всплеснув руками, снова зарыдал.

– Ну, говори же, старичок.

– Господи! Сорок годов я рускова духу не слыхал, слово родное забывать стал... А ноне вот на-поди! Сам государь великий... речь православную слышу...

И старик крестился дрожащими руками.

– Ну, так говори, кто ты и что хочешь поведать нам.

– Пес я, осударь, одичалый, – мотая головой, говорил старик. – Одичал совсем, отбился от родного дому, от земли православной. Блаженные памяти при царе Лексей Михайлыче ушел я из Великого Новагорода от тесноты боярской и вот скоро пятый десяток как молюсь тут среди чуди белоглазой... Ох, опостылела мне она, эта сторонка чужая, проклятая, а повороту мне к родной земле нету... Хуть бы кости старые привел Бог родною землицею присыпать...

– Ну, так что ж ты хотел поведать нам? – нетерпеливо повторил царь.

– Осударево дело, батюшка, осударево, – как бы спохватился старик. – Я вот, осударь, здесь, грешным делом, рыбку ловлю и на взморье частенько бываю. Так ноне, осударь, утром я и видел корабли швецкие в море, от Котлина от острова, надо бы полагать, сюда идут...

– А много кораблей? – тревожно спросил царь.

– Многонько, осударь. Только я так тебе скажу, царь-батюшка, эти-то швецки корабли можно голыми руками побрать.

– А как? Говори, старик, а твою службу не забуду.

– Спасибо, царь-осударь, на добром слове, а я служить своему батюшке царю всегда рад.

– И ты говоришь, корабли сюда идут? – нетерпеливо спрашивал царь.

– Надо так думать, осударь. Я их обычаи знаю. Всяку весну они тут плавают по Неве вплоть до Ладоги... Так я тебя научу, осударь, что делать. Вот туда пониже, за этим коленом от Невы влево речечка махонька течет, Мыя¹² называется, так лесом-то эта самая Мыя и доходит до взморья... А вправо от Невы идет рукав, он идет за островом, за Янисари, и тоже в море входит... Так ежели, примером сказать, ты, осударь, пойдешь кочами своими рукавом, а кто другой у тебя с другими кочами войдет в Мыю-речку, так коли швецки корабли придут да в Неву зайдут, тут и бери их, как карасей в верше...

¹² Мыя – река Мойка.

Царь казался взволнованным. Никогда ему не представлялась такую легкую возможность первой морской виктории. И вдруг!.. Да это вероподобно, рассказ старика дышит такой простотой, такой уверенностью... А он и не подозревал о существовании тут лесной речонки, обходной струи, в которую корабли не могут попасть, но которая именно создана для его легких лодочек... Промысл Божий... Дверь райская открывается... старик – это посланник Божий, это новый старец Пелгусий¹³, который предсказал победу Александру Невскому, тут же, на берегах этой самой заколдованной Невы...

– И ты верно, старичок, знаешь, что есть здесь обход лесом? – с волнением спрашивал царь.

– Есть, осударь, Мыя называется.

– И ты проведешь по ней мои кочи?

– Проведу, как не провести.

...Ночь тихая, прозрачная, с широкою зарею от заката до востока, с прозрачно-голубоватым небом, с робко мигающими звездами, которые как бы боятся, что вот-вот из-за темного бора выглянет бессонное солнце и прогонит их с бледного неба. Но все же это ночь, обязывающая ко сну и к покою. Спит полуразрушенный Ниеншанц, окруженный белыми палатками. Это русское войско, которое тоже спит, оберегаемое дремлющими часовыми. Спит темная Нева, и только слышится ее тихий, сонный шепот – это катится сонная вода речная от Ладоги до самого моря. Спят, уткнувшись в берега, словно утки, маленькие лодочки, составляющие флотилию царя. А среди них, среди этих серых уточек, спят две огромные птицы, не то гуси, не то лебеди... Это два шведских корабля, взятые с бою маленькими русскими лодочками.

Не спит один кто-то... Вот на берегу реки стоит этот кто-то, задумчиво глядя на воду, на реку, сонно бегущую к морю. Кому же больше быть, как не царю? У кого другого такой нечеловеческий рост в полтора роста человеческого? У него одного только.

Да, это он, он не спит. Не спится ему после первой славной морской виктории. Могучие грезы одолевают беспокойную голову царя. Радостью и гордостью блещут его глаза всякий раз, как они останавливаются на шведских кораблях.

«Все это мое – мое отныне и до века, – думается царю. – На сем месте созижду дом мой, и будет стоять он, пока стоит Российское государство, пока земля стоит».

И он нетерпеливыми шагами начинает ходить по берегу, останавливается, размеривает, говорит сам с собою... А беспокойная мысль забегает вперед. Уже ему видится на этом месте громадный город, весь изрезанный каналами, охраняемый неприступною крепостью, и корабли, корабли...

Никогда в жизни Петр не был так счастлив, как в этот день. То, о чем он мечтал с детства, с тех пор как увидел Переяславское озеро, для чего он подтянул на дыбу всю Россию, сбылось: ноги его стояли на клочке земли, который омывала морская вода, вода европейского моря, и этот клочок земли был его собственностью, и никто у него этого клочка не отымет... А эти два чудовища морские, и их он взял с бою, как и этот клочок земли...

Теперь у него будут свои морские чудовища, им есть где разгуляться, расправить свои белые крылья...

– Пойду напишу про свою радость Аннушке да князю-кесарю, – сказал он, топнув ногой...

И он быстро пошел к своей палатке. Ему не спалось в доме, не спалось под крышей, его тянуло под открытое небо, а потому он и по взятии Ниеншанца оставался в походной палатке, где и работал, и спал.

¹³ Пелгусий – ижорец, сообщивший накануне битвы на Чудском озере Александру Невскому о видении «спешащих на помощь» «брату» святых князей русских Бориса и Глеба.

У входа в палатку стояли часовые. Царь, отдернув полог, увидел, что у самого входа лежит что-то на пологе, скомкавшись в клубочек.

– А, это ты, Павлуша, – сказал царь. – Ступай к себе, спи, я еще писать буду.

Ягужинский, не совсем очнувшись от сна, тихо удалился в свое отделение палатки. Но царь тотчас же вернул его.

– А бумаги Кенисена где? – спросил он.

– У тебя на столе, государь, – отвечал юноша, бледнея и со страхом глядя на царя.

– Хорошо, ступай, спи.

Но Ягужинскому не довелось спать в эту ночь...

Он внимательно стал слушать из-за наружной перегородки, что делает царь... Все слышно, слышно даже его могучее дыхание, слышно, как он потянулся, зевнул, хрустнул пальцами и присел к своему походному столу.

– Боже, благодарю Тебя! – слышалось из-за перегородки. – Сна мне нет от великого счастья... Какой день, какой славный день...

Послышался шорох бумаги, хруст взламываемого сургуча... У Ягужинского сердце упало... Скоро, сейчас он увидит это страшное...

– Эх, бедный, бедный Кенисен! Не дожил ты до моего счастья, – слышался тихий, задумчивый говор царя с самим собою. – Посмотрим, что-то у тебя тут есть... А! Что это такое?

«Страшное... страшное увидел», – думал Павлуша, дрожа всем телом.

– Аннушка... Анна Монцова... Как она к нему попала!.. И письма ее – знакомая рука... Так вот она как... Так вот где змея подколотная... А! «Зейн гетрейсте бис ин мейн тод»... Как и мне писала... «по гроб верная»... А! Шлюха...

Что-то звякнуло, разломилось, хрустнуло... Упала табуретка...

– На дыбу!.. На плаху!.. Нет!.. На кол, на кол немецкое отродье!..

Голос царя страшен. Он быстро ходит по обширной палатке, роняя и разбрасывая все, что попадалось ему на пути... Потом он снова шуршал бумагами, комкал их, бормотал несвязные слова...

– Вот тебе и радость, вот тебе и виктория... Что же! Из-за сей мрази радость великую погубить? Нет! Не любя мне была Москва, а теперь стала еще постылее... Там убить меня хотели, в Москве же и обманули меня... К черту Москву! У меня есть новое место для столицы, и отныне будет оно моим парадизом и парадизом всего российского царства...

Ягужинский стал спокойнее прислушиваться. Он знал, что когда беспокойный царь заговорит о российском царстве, о его славе, то все другое, личное, уже менее острым становится для него.

– Я здесь сооружу мою новую столицу... Се будет новый мех, и в новый мех я волюю новое вино, и просвещение, и новые доблести российские... А Москва пусть останется Москвою... Ишь ты! Москва-де сердце России, ну, ин и пусть останется сердцем, кое присно живет в разладе с рассудком... Так и Москва... А эта немка Анна... Что ж! Пускай ее... не любит уж... Да и любила ли, полно? Не царя ли видела во мне, а не любовника? Да, любить и царь не может заставить...

Ягужинский видел, как громадная тень царя наклонилась над столом. Голова опустилась на руки. Тихо стало в палатке.

– А эта, Марта, что ли? Какие глаза – чистые, невинные... Может, эта и полюбит не как царя... Ну, да благо, быть здесь «Питербургу»!

Царь даже кулаком об стол стукнул... Потом зашуршала бумага, заскрипело перо.

Под скрип царского пера и уснул Павлуша Ягужинский.

IV

Малороссия... Украина... Всегда, во все века исторической жизни Русской земли край этот выступал из могильного мрака истории под дымкою очарования, поэзии, чего-то чудесного... Да, чудесное, героическое, легендарное прошло и сквозь всю историю этого симпатичного, но несчастного края. Яркость исторических красок так и бьет в глаза, когда вы переноситесь в прошедшее Украины: первые богатыри народного эпоса, богатыри стихийные и полумифы, потом богатыри-запорожцы, гетманы, козаки, гайдамаки, чумаки¹⁴ – на всем этом лежит печать поэзии.

.....

– Що се ты, доню, читаешь?

– Та се, мамо, про блудного сына.

– Що ж воно, из Евангелии, из Святого Письма?

– Ни, мамо, се комедия.

– Яка, доню, комедия?

– Воно, мамо, виршами писано.

– А хто его написав?

– Симеон Полоцкий, мамо.

– Що ж воно там пише?

– Та пише, мамо, що у одного человека було два сына, старший, тихий та слухяный, а меньший, якийсь козакуватый, непокийный, мов запорожський козак. «Отпусти та отпусти, – каже, – мене, тату...»

– Та се ж и Святе Письмо так пише... Яка ж се комедия, доню?

– Ах, мамцю, яко бо ты! Тут вирши...

– Так що ж шо вирши?

– Тим воно й комедия называется.

– А ну-ну, почитай, я послушаю, що воно таке е.

– Слухай, мамо... Ото вин, меньший сын, уже на воли, десь у чужий земли... Слухай, мамцю, що вин каже:

Бех у отца моего яко раб плененный,
Во пределах домовых як в тюрьме заключенный.
Ни что бьше свободно по воли творити.
Ждах обеда, вечери, хотяй ясти, пити,
Не свободно играти, в гости не пущано,
А на красные лица зретья запрещено...

– Овва! Се б то его батько на вечерниці не пускав...

– Ни, мамо, яка бо ты! Слухай...

– Та чого ж слухать! Волоцюга – волоцюга и есть... Одно слово, блудный сын, Семен Палий¹⁵...

– Ну вже, яка бо ты, мамцю! А люди кажуть, що Палий такий козак, якого и в свити нема.

– Не все то правда, що люди кажуть.

¹⁴ Чумаки – извозчики на волах.

¹⁵ Палий (Гурко) Семен Филиппович (1640-е—1710) – полковник правобережного украинского казачества. В конце 80-х гг. с З. Искрой, Абазиным, С. Самусем возглавил антишляхетское восстание на Правобережье. Оговорен И. Мазепой в 1701 г. в тайных сношениях с Польшей. В 1705–1708 гг. – в ссылке в Сибири, возвращен после измены Мазепы. Участник Полтавского сражения.

– Як же ж, мамо? Вин за виру стоит!

Так говорили между собою мать и дочь: дочь, Мотренька Кочубей. Зачем Пушкин назвал Мотреньку «Марией»? Разве не благозвучно было бы это имя в поэме? Вероятно. А может быть, Пушкину неизвестно было настоящее имя знаменитой дочери Кочубея.

Горница, в которой сидят мать с дочерью, не похожа на то, что в настоящее время разумеется под комнатами людей среднего состояния, а в особенности богатых. Это ни зала, ни гостиная, ни кабинет, ни столовая, ни уборная, ни спальня, – просто горница. Четыре окна ее выходят непременно в «вишневый садочек». Вдоль двух стен горницы тянутся широкие лавки, которые сходятся в переднем углу, украшенном богатою киотою. В киоте блестят иконы в золотых и серебряных окладах. Самый богатый оклад на образе «Покровы», это наиболее почитаемая икона украинца.

У других стен горницы несколько резных, с прямыми стенками стульев, и там же шкапы и поставцы, наполненные серебряною и золотою посудой. Особенным богатством отличаются кубки, между которыми есть и дорогой итальянской работы. Верхние половины шкапов стеклянные, а нижние глухие, с глухими дверцами. Дверцы эти изукрашены рисунками, малеваными масляными красками. Рисунки большею частью из народной жизни и истории, а также из Священного Писания и нравоучительные. Так, на одном изображены два человека, стоящие друг против друга; у одного в глазу нарисован сук, а у другого целое бревно. Подпись гласит:

У ближнего в очи бачишь маленький сучок,
А в себе не бачишь здоровый дручок.

На другом рисунке изображены козак и москаль; последний держит первого за полу, которую первый обрезаает саблей. Подпись: «Вид москаля полу врижь та втикай». На третьем рисунке: козак и лях, которые жмут друг другу руку, а козак другую руку держит за пазухой. Подпись гласит: «З ляхом дружи, а камень за пазухою держи».

Стара Кочубейха смотрит еще женщиной не старой и красивой, но в этой красоте не видно уже привлекательности, нежности и обаяния молодости. Скорее в красоте этой есть что-то отталкивающее, жестокое и надменное. Движения ее изобличают желание властвовать, повелевать, и если сфера этого владычества является ограниченной, то она превращается в семейный деспотизм в форме держания мужа под башмаком, а детей в ежовых рукавицах. Перед Кочубейхой прислуга должна непременно трепетать, ходить в страхе Божиим и исполнять не приказание госпожи, а движения ее бровей и глаз, мановения руки и понимать ее молчание. Недаром Мазепа, которому Кочубейха немало насолила, называл ее «женою гордою и велеречивою».

– На Кочубейху треба доброго муштука, як на брикливу кобылу, – не раз говорил он.

– Як бы не вы, Иван Степанович, – замечал на это лукавый Семен Палий, – то вона б давно була гетьманом.

Кочубейха, подойдя к Мотреньке, стала рассматривать лежащую перед ней книгу.

– Кто се тобі дав таку книгу? – спросила она.

– Пан гетьман, мамо, – отвечала Мотренька.

– От-ще! Старый собака, задума вчити чужу дитину.

– Ну вже яка бо ты, мамцю! За що ты его не любишь! – возразила девушка, глядя на мать. – Вин такой добрый...

– Добрый, як кит до сала.

– Та ни бо, мамо, вин меня и ласощив дае.

– Знаю, бо сам дуже ласый...

– Та за що ж ты его, мамцю, не любишь? – настаивала Мотренька, ласкаясь к матери.

– За те, що ты ще дурне, – отвечала Кочубейха, глядя голову дочери.

– Та ну бо, мамчику, скажи, за ви що? – ласкалась девушка.
– Выростешь, тоди сама знатимешь.
– Ах, мамо! Та я выросла вже...
– Выросла, та ума не вынесла.
– Ну, яка бо ты, мамо... мени вже скоро симнадцятыи рик буде...
– Знаю... а молоко материнськое он ще и доси на губах не обсохло... – И Кочубеиха тронула Мотреньку по губам.
– Ни, обсохло, мамцю, – лукаво возражала девушка. – Я знаю, за що...
– А за що бо? Ну, скажи, Мотрона Васильевна, будьте ласкови.
– Не скажу, мамо.
– От дурне!
– Ни, не дурне... Я чула, як ты раз таткови казала: «Коли б не сей старый собака, Мазепа, ты б давно був гетьманом...»
– Що ж, воно й правда... Вин уже чужий вик заидае.
– Та ни бо, мамо, вин вже не такий старый.
– А якого ж тобі ще?
– Хочь вин и старый, мамо, та вжавый, умный, вин краший вид молодых...
– Тю на тебе! От сказала!
– Та правда ж, вин мов и не старый.
– А знаешь, який вин старый? – сказала Кочубеиха, поправляя монисто на шее у дочери. – Оце намисто вин тобі подарував, як хрестили тебе, та й казав, що сему намистови вже сорок лит буде, що коли вин женился, то подарував его своей невесте, а теперь тебе... Та ще дуже мы тоди смиялись, як хрестили тебе... Як пип, отец Матвий, облив тебе свяченою водою та положив тебе ему на руки, вин, Мазепа, дивлячись на тебе... А ты була така малесенька, мов рачок маленький... И каже: «От дивчина так дивчина, – каже, – а нижки яки малюсеньки – Господи! – а коли выростут, – каже, – то так-то любенько бигатимут по мойи могильци...» От тобі й могила!.. А батюшка, отец Матвий, и каже: «Не загадуйте-ка, пане гетьмане, попереду Господа Бога: у Его Своя черта на наши могилки. Може, на вашу труну, – каже, – дерево ще и з земли не вылазило; може, коли оце нова раба Божа Мотрона вырасте, то вы б до ней й сватив прислали, та тильки пани гетманова вас за чуб вдержит...» Ото смиху було!

При последних словах матери девушка задумалась. То, что говорила мать, для нее было совсем не смешно. Старый Мазепа встал перед нею в каком-то чарующем обаянии, с его загадочным, угрюмым, задумчивым взглядом, в котором светилась молодая прелесть и ласка, когда он смотрел на Мотреньку... Эти задумчивые глаза смотрели на ее маленькие ножки, когда он, после купели, держал ее на руках и думал: «Эти маленькие ножки будут бегать по моей могиле... могила травой зарастет...» Нет! Эти живые глаза старого гетмана не заглядывают еще в свою могилу, они заглядывают далеко вперед, как глаза юноши, смело глядят в таинственное будущее, и это будущее обаятельно манит к себе Мотреньку.

Мотренька росла какой-то загадочной девочкой. Она не походила на других детей Кочубея, и, когда девочке было пять лет только, мать ее, гордая Кочубеиха, державшая свой дом в таком же строгом повиновении, в каком батько-кошевой держал Запорожскую Сечь, упрекала, бывало, пучеглазую Мотреньку: «Та ты в мене така неслуханья дитина, що вже й в пелюшках було пручалася, мов козиня, та из колиски кожен тобі день литала... В кого воно й уродилась, прости господи!» А оно уродилось, пожалуй, в нее же самое – в Кочубеиху... «Тильки було прокинуться, вже й кричит у колесци: «Не хочу, мамо, не хочу!» Се, бачь, не хоче, що бий мыли й обували... И само лизе з колиски, та бебех до долу, писне трошки, та й мовчит, не плаче, а тильки сопє... Як не доглянут бувало, то воно вже й гоня по двору босе та расхристане... А було приймаєшь его, питаєшь: «Та чи вмивали тебе, Мотю?» Так воно й одриже: «Мене, мамо, каже, дрибен дощик вмив», або воно, непутно, «росю, каже, вмивалося»... От така дитина!»

Мазепа, как крестный отец и бездетный, тоже не мог не обратить внимания на этого бедного ребенка. «Се у тебе, кумо, царь-девица росте, – говорил, бывало, старый гетман, любуясь своею хорошенькою крестницей, которая, сидя у него на коленях, теребила его за усы и за чуб, – а мени не дав Бог такой утихи...» Кроме гетманских усов и чуба, Мотренька любила также забавляться гетманскою булавою, которую старик, когда у него гостила крестница, тихонько от старшины давал девочке «програться». Не было, кажется, просьбы, которую старый гетман не исполнил бы ради своей крестницы. «Попроси воно в мене Батурин, и Батурин отдам, тильки гетьманства не отдам, бо воно, мале дивча, до ваших, панове, чубив ручками не достане», – обрачался он, бывало, к своим полковникам, держа на руках маленькую Мотреньку.

Когда Мотренька стала большенькою, уже она не любила обыкновенных детских игр и выдумывала для себя собственные развлечения. У нее был целый завод и домашней, и прирученной птицы, а также разных зверей, начиная от ручных зайцев, ежей, кроликов и кончая сайгаками. Журавли, аисты, лебеди, пеликаны – все это бродило на ее птичьем дворе, а когда поутру Мотренька являлась к своим любимцам, то звери и птицы наперерыв старались завладеть ее вниманием и лакомыми яствами, с которыми являлась к ним девочка.

– Ото в тебе, Василий Леонтиевич, росте царица Клеопатра, – говаривал Мазепа Кочубею, видя Мотреньку, окруженную зверями и птицами.

– Так-то так, пане гетьмане, Клеопатра, та тильки Антония у нас немає, – отвечал на это Кочубей.

– Овва! За такими дураками дило не стане, – смеялся старый гетман, не подозревая, что этим Антонием будет он сам и, так же как Антоний римский, погибнет чрез свою Клеопатру.

Врожденная ли впечатлительность и самоуглубление или любовь к рассказам о сверхъестественных силах и явлениях, о чарах, скрытых в природе, необыкновенно развили в девочке воображение. Когда ей уже было лет пятнадцать, она ночью ходила в лес отыскивать цвет папоротника для того, чтобы с его помощью облететь весь мир и посмотреть, что в этом мире делается. Особенно ее тянуло в те неведомые страны, где, по народным рассказам, томились на «турецких галерах» козаки-невольники, думу о которых она никогда не могла слышать без того, чтобы в конце концов не разрыдаться. Судьба невольников не выходила у нее из головы с тех пор, как она в первый раз услышала думу «про Марусю Богуславку». Это было в Батурине, когда Мотреньке не было еще десяти лет. На первый день Пасхи, когда Мотренька восхищалась надаренными ей разными «писанками» да «крашанками», на двор к ним прибрел старый слепой лирник и, усевшись под забором, запел под однообразное треньканье бандуры тоскливое причитанье про Марусю Богуславку. Мотренька стояла в стороне и жадно слушала незнакомую ей думу. Немного поодаль стояли другие слушатели – домочадцы Кочубеев, преимущественно «жиночки», «дивчата» да «дитвора». Тут же была и Устя, старая нянька Мотреньки, «удова старенька», как она себя называла, большая фантазерка-баба, воображавшая, что она та «удовищя», об которой поется в думах и у которой был сын «удовиченко», хотя этот сынок был большой «гульвиса» и лентяй, за что Кочубеиха и сослала его на хутора – пасти конский табун. Это-то обстоятельство и заставило Устю воображать, что сынок ее в турецкой неволе, за синими морями, за быстрыми реками.

– Яку ты се, дидушка, проказати хочеш? – спросила Устя, когда лирник настроил свою бандуру и жалобно затренькал.

– Та великодну ж, люде добри, – отвечал лирник, не поднимая своего слепого лица, – бо сегодня, кажут люде, святыи Великдень.

– Та Великдень же, старче Божий.

– Так и я великодной...

Старик откашлялся, пробежал привычными пальцами по струнам и визгливым старческим голосом затянул:

Ой, що на Чорному мори.
Ой, що на билому камени,
Там стояла темная темниця.
Ой що у тий-то темниці пробувало симсот козаків,
Бидных невольників.
То вже тридцять лит у неволи пробують,
Божого свиту, сонця праведного в вичи соби не видають...

И он поднял свои слепые глаза к небу, как бы желая показать, что он, слепорожденный, может созерцать «праведное солнце», а «бидни невольники» лишены и этого.

Глубоко подействовал припев на слушателей. Чем-то священным, казалось, веяло на них и от этих понятных всем горьких слов, и от этого скорбного, тихого треньканья. Мотренька вся задрожала, когда до слуха ее долетели слова: «тридцать лит у неволи...»

– Що Мати Божа! Спаси и вызволи, – тихо простонала Устя, в воображении которой встал ее «бидный невольник», сынок, у конского табуна.

А старик, чутким ухом своим уловивший и этот невольный стон матери, и едва слышные вздохи других слушательниц, продолжал, разом возвысив свой дребезжащий голос до октавы:

Ой тоди до их дивка бранка,
Маруся-попивна Богуславка
Прихождає,
Словами промовляє:
«Гей, козаки,
Вы, бидни невольники!
Угадайте, що в нашій землі християнський за день тепера?»
Що тоди бидни невольники зачували,
Дивку бранку,
Марусю-попивну Богуславку
По ричах познавали,
Словами промовляли:
«Гей, дивко бранко,
Марусю-попивно Богуславко!
Почим мы можем знати,
Що в нашій землі християнський за день тепера,
Бо тридцять лит у неволи пробуваєм,
Божого свиту, сонця праведного у вичи соби не видаєм,
То мы не можемо знати,
Що в нашій землі християнський за день тепера?»
То дивка бранка,
Маруся-попивна Богуславка
Тее зачуває,
До козаків словами промовляє:
«Ой, козаки,
Вы, бидни невольники!
Ой що сьогодні у нашій землі християнський Великодняя суббота,
А завтра святой праздник, роковой день Великдень...»

Стон прошел по всему сборищу добрых слушательниц... С последним визгом струны словно оборвалось у каждой из них на сердце...

Мотренька стояла как окаменелая, не чувствуя, как из ее широко раскрытых глаз катились крупные слезы и капали на красивые крашанки, которые словно замерли в ее руках.

В это время на крыльце панского дома показалась фигура старого гетмана. За ним вышли Кочубеи и находившиеся у них вместе с Мазепой гости.

Кружок, обступивший лирника, при виде панов дрогнул и хотел было расступиться; но Мазепа махнул рукой, и все остановились.

Мотренька ничего этого не видела, не спуская глаз с лирника, который тихо тренькал по струнам и молча кивал седой головой, как бы давая роздых наболевшей груди и глотая накопившиеся в груди слезы.

Около слепого лирника сидел маленький хлопчик. Это был вожатый слепого бродяги и его «михоноша»¹⁶. Хорошенькое личико ребенка, которое, по-видимому, ни разу в жизни не было обмыто заботливыми руками любящей матери, непокрытая головенка с спутавшимися прядями никогда не чесанных волос, босые ноги, вместо сапогов обутое в черную кору засохшей грязи, – все это, буквально «голе и босе», само напрашивалось на сожаление и участие; а между тем ребенок беззаботно играл красным яичком, не обращая внимания ни на вздыхающих слушательниц, ни на плачущую бандуру своего «дида».

А скрипучий голос «дида» опять заныл, мало того – зарыдал, потому что зарыдали «бидни невольники»:

Ой, як козаки тее зачували,
Билим лицем до сырой земли припадали,
Плакали-рыдали.
Дивку бранку,
Марусю-попивну Богуславку
Кляли-проклинали:
«Та бодай ты, дивко бранко,
Марусю-попивно Богуславко,
Щастя й доли соби не мала,
Як ты нам свяятий празник, роковий день Великдень сказала!»

И важный Мазепа, этот «батько козацький», и Кочубей, и их гости, и все эти босые и обутое бабы и «жиночки», «дивчата», «дивчаточки» и «дитвора» – все это с глубоким вниманием и интересом слушало родную, дорогую для каждого украинца повесть страданий их бедных братьев, словно бы это было народное священнодействие, поминовение тех, которые теперь, в этот светлый праздник, изнывают в темной неволе, вдали от милой родины...

Но особенно потрясающее впечатление на женщин произвели последние, заключительные строфы думы, когда слепой поэт, нарисовав, как Маруся Богуславка, освободив невольников, прощалась с ними, рыдающим голосом изображал это прощание:

Ой, козаки,
Вы, бидни невольники!
Кажу я вам, добре дбайте,
В города християньски утикайте,
Тільки прошу я вас одного – города Богуслава не минайте,
Моему батькови й матери знати давайте:

¹⁶ Михоноша – мехоноша, носитель мешка для подаяний.

Та нехай мий батько добре дбає,
Грунтив, великих маеткив не збуває,
Великих скарбив не збирає,
Та нехай мене, дивки бранки,
Маруси-попивны Богуславки,
З неволи не вызволяє:
Вже я потурчилась, побусурменилась —
Для роскоши турецької.
Для лакомства нещастного!..

— Ото ж проклята! — невольню вивался крик у молоденької, белокурої Горпины, котра все время молча слухала надрываюче душу причитанье. — От проклята!

— Де не проклята! — підтвердили баби. — Потурчилась, суча дочка...

А Мотренька, вся попуццувешая от волнення, сожалеңня и стыда, при последних словах лири́ка бросилась к матери да так и повисла у неї на шее...

— Мамо? Мамо? — лепетала дівочка. — Яка ж вона негожа... яка вона, мамо!..

— Хто, доню?

— Маруся-попивна Богуславка...

И дівочка разрыдалась... Все были растроганы... Даже молчаливый Мазепа, у которого заискрились старые глаза, тихо подошел к своей крестнице и перекрестил уткнувшуюся в подол Кочубеихи черненькую головку.

Мотренька с той поры никак не могла забыть ни Маруси Богуславки, ни «бидных невольников»...

В то время, когда началось наше повествование, крестнице Мазепы было уже шестнадцать лет. Дівочка выровнялась в статную, стройную, прекрасно развитую женщину, которая казалась несколько старше своих, в сущности, еще детских лет. Но эта возмужалость пришла к ней вместе с ее южным, горячим темпераментом, в котором сказывалась немножко восточная кровь, кровь Кочубеев, может быть, хаджи-беев, давно забывших свое татарское гнездо и превратившихся в коренных украинцев. Необыкновенно живая, впечатлительная, страстно-стремительная, Мотренька с годами становилась все сдержаннее, ровнее. Быстрые движения кошки превратились в движения плавные, полные непринужденности и грации. Только цвет волос и какой-то глубокий свет черных глаз изобличали что-то жаркое, азиатское, смягченное необыкновенно мягкостью лицевых очертаний. Но грезы детства не отлетели от нее с возмужалостью, и если она не искала цветка папоротника в шестнадцать лет, как искала его несколько раньше, то взамен этого мысль ее и живое воображение развешивали перед нею картины всего мира, среди которых не последнее место занимали далекие, никогда не виданные моря, с плавающими по ним галерами турецкими... А на галерах эти «бедные невольники»... А вдаль, на азиатском берегу, на серой скале, висящей над морем, стоит дівочка и ломает себе руки... Это — Маруся Богуславка...

Несколько лет Мотренька прожила в Киеве, в одном из женских монастырей, где она, под надзором настоятельницы и наиболее образованных монашенок, докончила свое образование, начатое дома. В монастыре ее часто навещал Мазепа, который все по-прежнему любил и баловал свою крестницу и всегда с интересом расспрашивал настоятельницу об успехах своей любимицы. И Мотренька с своей стороны все более и более привыкала к старому гетману. Она даже узнавала топот гетманского коня, когда Мазепа, в особенности по праздникам, заезжал в монастырь или во время обедни, или после службы. Когда он входил в церковь, то, не оглядываясь, Мотренька узнавала о его приближении и всегда была рада его видеть, тем более что он или привозил ей вести от отца и матери, или оделял ее и подружек-монастырок разными «ласощами».

Как дома, так и в монастыре Мотренька проявляла несколько большую самостоятельность характера и пытливость, чем того желали бы ее родители и воспитатели, взрослые на преданиях и на законе обычая, столь крепком в то старосветское время. Дома она ходила искать цвет папоротника, бродила одна по лесу, чтобы встретиться с «мавкой» или русалкою; но искания ее оказались напрасными. В монастыре она задалась упрямым решением помогать выкупу «бидных невольников» из турецкого плена. С этой целью каждую церковную службу, особенно же в большие праздники, она вместе с матерью казначеею и другими инокинями обходила всех молящихся в церкви, таская огромную кружку с надписью: «на освобождение пленных», и часто к концу службы кружка ее была битком набита медью, серебром и золотом... «На бидных невольников... На страдающих в пленении», – шептала она, погромыхая звонкою кружкою, и карбованцы сыпались в кружку черноглазой клирошанки...

Однажды Мотренька произвела в монастыре небывалый, неслыханный соблазн... Дело было таким образом. Монашенки постоянно твердили, что женщина не может входить в алтарь, что она – нечистая, что раз она вступила в святая святых, ее поражает гром; Мотренька решилась войти в святая святых, но не из шалости, а по страстному влечению того чувства, которое влекло ее ночью в лес за цветком папоротника... Три дня она постилась и молилась, чтоб очиститься, и наконец, когда церковь была пуста, со страхом вступила в алтарь... Там она упала на пол и жарко молилась, благодарила Бога за то, что она – нечистая... В этом положении застала ее старая монастырская «мать оконома» и остолбенела на месте... «Изыди, изыди, нечистая!.. Огонь небесный пожрет тя!» – завопила старушка... Мотренька тихо поднялась с колен, приложилась к кресту, благоговейно вышла из алтаря и радостно сказала изумленной «окономе»:

– Матушка! Бог помиловал меня... Вин добрый, добриший, ніж вы казали...

Девочка была строго наказана за это, но Мазепа, которому мать игуменья пожаловалась на его крестницу, с улыбкой заметил:

– Вы кажете, матушка, що дивчини не след у олтарь ходить, що дивчина не чиста... А як вы думаете, мать святая, дяк Опанас, що по шинках, да по вертепах, да по пропастях земных вештається, чище над сю дитинку Божу?

На это матушка игуменья не нашлась что отвечать.

С годами Мазепа все больше и больше привязывался к своей крестнице. Иногда ему казалось, что он был бы счастлив, если б судьба послала ему такую дочку, как Мотренька. С нею он не чувствовал бы этого холодного, замкнутого сиротства, которое особенно стало чувствительно для старика после смерти жены, более сорока лет делившей его почетное, но тягостное одиночество в мире. Мир этот казался для него монастырской кельей, острогом, из которого он управлял миллионами свободных, счастливых людей, а сам он был и несвободен, и несчастлив. Да и с кем он разделит бы свою свободу, свое счастье? Кому он нужен не как гетман, а как человек?.. На высоте своего величия он видел себя бобылем, круглым сиротой, гетманской булавой, перед которой все склонялись, но которую никто не любил. Хоть бы дети! Хоть бы какие-нибудь семейные заботы, горе, боязнь за других! Нет, ничего нет, кроме власти и отчуждения!..

Иногда на старика нападала страшная, смертная тоска... Для кого жить, зачем? Чего искать? Личного счастья? Но какое же у булавы личное счастье! Да и какое может быть счастье под семьдесят лет! Отрепья старые, жалкие обноски, сухое перекасти-поле, зацепившееся за чужую могилу...

Хоть бы дети! Так нет детей! Никого нет! Какое проклятое одиночество!

Есть дети... усатые и чубатые «дитки-козаки»... А он их «батько»... Но не радуют и дети, «детки»... Не радуется вся Украина-матка... Для нее разве жить? Ее оберегать. Но надолго ли? Кому она потом, бедная вдовица, достанется? Разве не начнут ее опять трепать и москали, и ляхи, и татары? А ей бы пора отдохнуть, успокоиться...

Вси покою щире прагнуть...

А там, по ту сторону Днепра, «тогобочная Украина» тоже мутится... Семен Палий широко загадує... Палий свербит на языке посольства, на языке всей Украины... Скоро Мазепа и на Украине останется вдовцом, бобылем.

Такое мрачное раздумье нападало на старого гетмана всякий раз, когда ему нездоровилось. К тому же и из Москвы приходили тревожные вести: царь разлакомился успехами... Этою весною он уже стал пятою на берегу моря, и не сбить его оттуда... А оттуда, разохотившись, повернет опять на Дон, поближе к этим морям, да и на Днепр, да на всю Украину...

– А ты, старый собака, чого дивишься! От вин загарба твою стару неньку, Украину, и буде вона плакать на риках вавилонских... О, старый, старый собака!..

Так хандрил старый гетман, взволнованно бродя по пустым покоям гетманского дворца в Батурине в то время, когда Кочубеиха, застав свою дочь за чтением Димитрия Ростовского¹⁷, заговорила о Мазепе и о том, как он когда-то крестил Мотреньку.

– Занедужав, кажуть, дидусь, – заметила кстати Кочубеиха.

– Хто, мамо, занедужав? – спросила Мотренька.

– Та вин же, гетьман.

Девушку, по-видимому, встревожили слова матери. Она давно привыкла к старику, привязалась к нему, ее привлекал его светлый ум, его ласковость, а еще более его одиночество, которое девушке казалось таким горьким, таким достойным участия.

– Що в его, мамо? – спросила она торопливо.

– Та все то ж, мабуть...

– Та що бо, мамочка?

– Певне, подагра да хирагра... Чому ж бильше бути в его! Нагуляв собі... Час и в домовину...

– Ах, мамо, мамо! Грих тобі... А вид подагры, мамо, можно вмерти?

– Як кому... Вин уже сто лит вмирає, та й доси не вмер...

Девушка ничего не отвечала, слова матери слишком возмущали ее. Но она решилась навестить больного старика, как он навещал ее в монастыре, и потому оставила без возражения то, против чего в другое время она непременно бы восстала.

После разговора с матерью Мотренька вышла «у садочок» и нарвала там лучших цветов, которые, как она знала, нравились старому гетману, особенно когда ими была убрана его крестница. Ей так хотелось утешить, развлечь бедного «дидуся», который всегда, бывало, говорил, что Мотренька чаровница, которая всякую боль может снять с человека одним своим щебетаньем.

Нарвав цветов, она направилась к дому гетмана через свой сад, за которым тянулись гетманские усадьбы. На дороге встретился ей отец, который шел вместе с полтавским полковником Искрою. Лицо Кочубея просияло при виде дочери. Искра тоже любовался девушкою.

– Да се ты, дочко, йдешь? Чи не на Купалу? – ласково спросил отец.

– Який сегодня, тато, Купало?

– Та як же ж? Якого добра нарвала, повни руки... Хоч на Купалу.

– Та се я, татуню, до пана гетьмана... Мама каже, вин занедужав...

– Та що ж, ты его причащать идешь?

– Ни, тату, так... щоб вони не скучали...

– Ах ты моя ясочка добра! – говорил Кочубей, целуя голову дочери.

¹⁷ Дмитрий Ростовский (1651–1709) – в миру украинский шляхтич Даниил Саввич Туптало. С 1702 г. митрополит Ростовский. Автор многочисленных проповедей, драм, им отредактирован свод житий святых Четыи минеи.

- Та як же ж, татуню, мини жаль его...
- Ну, йди-йди, рыбчко... Вид твого голосу й справди полегшає...
- Бувайте здорови! – поклонилась она Искре.
- Будемо... А дайте ж и мини хочь одну квиточку, – улыбнулся Искра.
- На що вам?
- Та хочь понюхати... може, й мини легше стане...
- Ну нате оцей чернобривец...
- Овва! Самый никчемный... От яка...

Девушка убежала. Она знала, что Искра, как истый украинец, любивший «жарты», долго не оставил бы ее в покое, а ей теперь было не до «жарт».

У ворот гетманского двора стояло несколько сердюков¹⁸, принадлежащих к личному конвою гетмана. Это были большею частью молодые украинцы, дети наиболее знатных малороссийских семейств, из коих Мазепа, воспитанный на польский лад, старался искусственно выковать нечто похожее на европейское дворянство и польское шляхетство, положительно несовместимое с глубоко демократическим духом казачества и всего украинского народа. Молодые люди, скучая бездействием, выдумали себе забаву: они свели на единоборство огромного гетманского козла с таким же великаном, гетманским бараном. И козел, и баран давно жили на одном дворе и всегда враждовали друг против друга: козел считал своею територією ту часть гетманского двора, где помещались конюшни, а баран считал себя хозяином не только около поварни, но и у самого панского крыльца, и при всякой встрече враги вступали в бой. Теперь сердюки заманивали их за ворота и раздражали того и другого. И козлу, и барану они присвоили названия сообразно ходу тогдашних политических дел: козел у них изображал москаля, баран – шведа.

В то время когда на улице показалась Мотренька, бой между «москалем» и «шведом» был самый ожесточенный: козел, встав на задние ноги и потрясая белой бородой, свирепо шел на своего противника; а баран, стоя на одном месте и понутив голову, с бешенством рыл землю ногами. В то время, когда козел не успел пройти половину пространства, отделявшего его от противника, баран разом ринулся вперед, и противники страшно стукнулись лбами. Сила удара со стороны барана была такова, что козел осел на задние ноги и замотал головой.

- Крипись, москалю!
- У пень его! У пень, шведе!
- А ну ще, москалю! Не той здоров, що поборов...

Но голоса сердюков разом смолкли, когда они увидели, что рассвирепевший козел, заметив идущую по улице Мотреньку, поднялся на дыбы и направился прямо на нее... Молодые люди оцепенели от ужаса, растерялись, не зная, что делать, куда броситься. Девушка также растерялась... А между тем страшное животное шло на нее... расстояние между ними с каждым мгновением ока уменьшалось.

Но в этот момент из кучки сердюков бросается кто-то вперед, в несколько скачков настигает козла и хватает его за заднюю ногу... Животное спотыкается, ищет нового врага, оборачивается, и в это время остальные сердюки окружают его. Тот из них, который первым столь самоотверженно бросился на разъяренное животное и остановил его, поднялся с земли при немом одобрении товарищей. Он был бледен. Глаза его смущенно смотрели в землю.

Девушка первая оправилась от испуга. Подойдя к тому, кто первым бросился на ее защиту, она остановилась в нерешительности. Молодые сердюки также чувствовали себя неловко.

– Спасибі вам, – первую заговорила девушка, обращаясь к тому, который оказался находчивее прочих. – Чи вы не забились?

¹⁸ Сердюк – пеший казак, наемные полки в Левобережной Украине в XVII – нач. XVIII в., гвардия гетманов.

– Ни, Мотрона Василична, – отвечал тот, не смея взглянуть на девушку. – Простить нам, бога ради, мы вас налякали.

– Як вы? Вы тут не винни...

– Ни... се наши играли... Се мы, дурни, его рассердили... Тильки не кажить, буде ласкави, панове гетьманови, що вы злякались...

– Не скажу... на що казати?.. Я не маленька...

– Щире дякуємо... А то вин нас со свиту сжене..

– Не бийтесь... А оце вам роза за те, що вы смилый козак.

И девушка подала ему розу. Молодой сердюк взял ее, повертел в руках, понюхал и воткнул за околыш шапки.

– О, який лицарь! – засмеялись товарищи.

– Козинячий лицарь, – пояснил тот, кому досталась роза.

Девушка также засмеялась. Она не знала, что этот «козинячий лицарь» будет играть важную роль в ее жизни... Это был Чуйкевич...

Пройдя мимо часового, ходившего около крыльца гетманского дома, девушка из светлых сеней вступила в большую приемную комнату, увешанную оружием и бунчуками. На пороге встретил ее огромный датский пес, видимо обрадовавшийся гостю.

– Здоров, Цербер, – сказала Мотренька, глядя красивое и ласковое животное. – Пан дома?

Пес радостно залаял, услышав про пана, которым он эти дни был недоволен: эти дни пан такой хмурый, сердитый, что как ни вилай перед ним хвостом – он не замечает этого собачьего усердия и ничем не поощрит его.

Из приемной девушка отворила дверь в следующую комнату и приостановилась на пороге. Это была также довольно просторная комната со стенами, украшенными картинами и портретами. Одна стена занята была стеклянным шкапом с книгами, а вдоль другой на полках блестело серебро и золото. Сайгачьи головы с рогами, кабаньи морды с огромными клыками и чучело громадного орла с распростертыми крыльями довершали украшение этой комнаты.

Остановившись на пороге, девушка увидела знакомую широкую спину и такой же знакомый плоский седой затылок. Мазепа, нагнувшись над столом, рассматривал лежавшую на нем ландкарту.

– Од Днипра за Случ, а там за Горынь, а там за Стырь и Буг до самого Кракова... Так, так... А од Кракова Червоною землею до Коломии, а од Коломии до самого моря... Ото усе наше... Де била сорочка та прямой комир, то наше... Ох, бисова поясниця! – бормотал старый гетман, водя пальцем по карте.

– Добри день, тату... Здоровеньки були, – тихо сказала девушка.

Согбенная спина старика мгновенно выпрямилась. Он обернулся, и хмурое, усталое, угрюмо-болезненное лицо его осветилось радостной улыбкой. По серым, глубоко запавшим глазам прошло что-то теплое...

– Се ты, ясочка моя... Спасибі, доненько...

У старика дрогнул голос, он остановился... Девушка быстро подошла к нему и поцеловала руку.

– Помогай би, тату, – еще тише сказала девушка, – що вы шукаете там? – Она указала на карту.

Старик, взяв ее за руки и грустно глядя ей в глаза, так же тихо отвечал:

– Могилы соби шукаю, доненько.

– Якої могилы, тату любый? – И у нее голос дрогнул.

– Глыбокои, глыбокои, доненько, могилы, щоб, почиваючи в ний, моя сидая голова плачу людського не чула, щоб очі мої старії, сырою землею присыпання, не бачили бильше твоего головки чернявенькой, щоб замист горя сумной едноты, в сердци моим черви-гробаки мишкали... Глыбокои, глыбокои могилы шукаю я, доненько моя.

В голосе старика звучала глубокая, тихая, безнадежная тоска, словно бы в самом деле он хоронил себя... Девушка чувствовала, что к горлу ее приливают слезы... Она крепко сжала старые руки.

– На що могилу!.. Не треба могилу, таточко... Не треба вмирати... Що болит у вас?

– Душа болит, доню... Прискорбна душа моя даже до смерти, – говорил старик, садясь около стола и усаживая около себя девушку. – Для чего я живу? Кому на корысть, на утиху? – продолжал он как бы сам с собою. – Ни дитей у мене, ни ближних... Ближний далече мене сташа, и аз в мире семь точию в пыстине пространной... О! Ты не знаешь, дитятко, яке то велике горе, сиритство старости! Яки довги, страшни ночи для старика безридного!.. Оце ходишь, ходишь по пустых покоях, слухаешь витру або лаю собачого, ждеш сонця... а сонце прийде, и воно не грие... Так лучше в домовину та в могилу, щоб не бачить ничего и ничего не чути... Де мои други искренний? Нема их! Один Цербер друг мий и товарищ, пес добрый и вирный... Буде з мене и пса, бо я гетьман, игемон великий народу украиньского... Та Господи ж Боже мий! И Бог Саваоф, игемон видимого и невидимого мира – и Той не один, и Той в Троици. А я, я один, один, як собака!

Он остановился. Девушка грустно склонила голову, машинально перебирая цветы, положенные ею на стол.

– Се ты мени, доню, на могилу принесла? – тихо спросил Мазепа, дотрагиваясь до цветов.

– Бог з вами, тату! – с горечью сказала девушка и тихонько смахнула слезу, повисшую на реснице.

– Бог... Бог зо мною... истинно... А ты знаешь, дочко, что есть посещение Божие? – как-то загадочно спросил он.

– Не знаю, тату.

– Ох, тяжко Его посещение!.. Посети Бог мором и голодом... Огнем посети Бог страну, вот что есть посещение Божие... А мене посетив Бог горькою самотою.

Острою болью по сердцу проходили эти безнадежные слова одинокого старика, эту острую боль чувствовала девушка в своем сердце, и слезы копились у нее на душе... Бедный старик! И власть, и богатство, и почет – все есть; а душа тоскует... Девушка не знала, что сказать, чем утешить несчастного...

– А вы б чаще до нас ходили, тату, – сказала она, не зная, что сказать.

Мазепа горько улыбнулся и опустил голову.

– До вас?... Спасибі, моя добра дитина.

– Дали бы, таточку, ходить... А то он вы яки... могилу шукаете... Мене вам и не жаль...

И девушка вдруг расплакалась. Она припала лицом к ладоням, и слезы так и брызнули между пальцами.

Старик задрожал, эти слезы ребенка не то испугали его, не то обрадовали...

– Мотренько! Мотренько моя! Дитятко Боже, сонечко мое весиннее, рыбочко моя, – бормотал он, сжимая и целуя черненькую головку. – Не плачь, моя ясочко, ластивочко моя! Я не вмиру, я не хочу вмирати... Я буду довго, довго жити... Подивись на оцю бумагу, – и он поворачивал плачущую голову девушки к лежащей на столе ландкарте, – подивись очинятами твоими ясенкими... Я не могилу шукав собі, ни! Я миряв нашу Украину-неньку... Она яка вона! Дивись, як вона разлаглася: од Сейму до Карпатив и от Дону до самой Вислы... Оце все наше буде, доненько моя, все твое буде... Ты хочеш, щоб воно все твое було? – спросил он, загадочно улыбаясь.

– Як мое, тату? – девушка отняла руки от заплаканного лица и глядела на старика изумленными глазами.

– Твое, доненько... Оце все твое буде: и Батурин, и Киев, и Черкассы, и Луцк, и Умань, и Львов, и Коломия, и вся Червона Русь, и Прилуки, и Полтава, – все твое, як оця твоя запасочка червоненька, як оци твои корали на шийци биленькии... Тоби жалко мене, дочечко моя?

– Жалко, тату.

– И твои очинята карии плакатимуть на мойй могильци?

– Тату, тату!

Девушка опять заплакала. Мазепа опять начал утешать ее:

– Ну, годи-годи, серденько мое, не плачь... Я не буду... Подумаем лучше, що маем робити... Мы ще поживемо... Коли ты хочешь, щоб я жив, я буду жити.

– Хочу, таточко...

– И ты будешь до мене, старого, ходыти, як теперь прийшла, рыбочко!

– Буду... хочь кожен день...

– И ты не скучатимешь с старым собакою?

– Ну, яки бо вы, тату!

– Так не скучатимешь?

– Не скучатиму... я таки буду жити з вами.

Опять загадочным светом блеснули старые, помолодевшие глаза гетмана.

– А твои батько й мати? – нерешительно спросил он.

– Тато ничего... вин добрый... А мати, може, й вони ничего...

– А сама ты хочешь до мене?

– Та хочу ж бо! Яки вы!

Мазепа задумался. Он хотел еще что-то спросить, но не решился.

– Так будемо жити, – сказал он после непродолжительного молчанья. – Ты мени даси и здоровье, и молодии годы... А я вже думав кинчати мои писеньку... А писня моя тильки ще зводиться...

Куда девалась и подагра, и хирагра! Мазепа бодро заходил по комнате. Седая голова его гордо поднялась, и просветлевшие глаза глядели куда-то вдаль...

– Чи чит, чи лишка?.. Чи Петро, чи Карло, – бормотал он, нетерпеливо встряхивая голову, словно бы на нее садилась докучливая муха. – О, Семене, Семене Палию... мы ще не мирялись с тобою... Помиряємось... чи чит, чи лишка... О, мое сонечко весиннее!..

V

Семен Палий... Почему Мазепа вспомнил о нем при воспоминании о Петре и Карле? И почему он желал бы с ним померяться?

Эти вопросы очень беспокойно занимали Мотреньку после ее свидания с Мазепой, да и многие другие мысли наводнили ее впечатлительную головку после разговора с старым гетманом, разговора, подобного которому она еще ни разу не вела в жизни ни с Мазепой, ни с кем-либо другим.

И что случилось с гетманом? То он ищет могилы, говорит, что встосковался на этом свете, не глядел бы на мир божий в своем одиночестве; то обещает ей, Мотреньке, всю Украину, как вот эту червонную плахту... И отчего ей не жить с ним, чтоб он не скучал? У него нет детей, никого нет на свете, не так, как у них, у Кочубеев: и братья, и сестры, и родичи... А он один, бедненький, как былиночка в поле.

Но что ему сделал Палий? И зачем они все четверо сошлись: Мазепа, Палий, Петр-царь и Карл-король? Надо было расспросить кого-нибудь. Но кого?

«Маму хйба? Так мама ни Паля, ни Мазепы не любит А хйба татка? Татко добрый. Так татко смиячиметься... «Пиди, – скаже, – в цяцю, пограйся...» От кого спытаю? Стару няню, вона все знае...»

Так думала Мотренька, ворочаясь с боку на бок в жаркой постели... А тут еще этот соловейко не дает спать, щебечет тебе под самым окном всю ночь, точно ему сорокоуст заказали: щебечи да щебечи от зари до зари...

Да и ночь, как на беду, жаркая, тихая, душная, лист на дереве не шелохнется, воздух куда-то пропал, нечем дышать человеку. Вместо воздуха в окна спальни пышет душный запах цветущей липы, точно и она задыхается. А этот соловейко так и надрывается, так и стучит, кажется, под самое сердце.

«А той сердючок молоденький, що цапа за ногу пиймав... Який чудний... Козинячий лицарь... И яки в его очи чудни... А ну, буду думати про цапа, може, й засну... Цап-цап, у цапа роги, у цапа борода мов у москаля... Цап... цап... Мазепа... Палий... Петро... Карло... А те молоденьке москальча, що весною плакало у садочку? Царський, бачь, денщик, Павлуша Ягужинский, а плаче мов дивчинка... А що се соловейко все одно спивае?.. А може, й ранок близько... Подивлюсь у викно...»

И Мотренька осторожно сползла с кровати, чтобы пробраться к окну, выходившему в сад. Она была в одной сорочке, босиком и с распущенной косой, потому что не любила спать ни в чепчике, ни с заплетенною косой... А теперь же так жарко!.. Вот она идет к окну, а в окна кто-то смотрит. Ох! Да это белые цветы липы, это они так пахнут...

– Оце вже! Чи не коров дойти? – послышался вдруг голос из угла спальни.

– Ах, няня! Як на мене злякала. – Это была старуха нянька, Устя, спавшая у панночки на полу.

– Де злякати! Сама злякалась... Думала, видьма йде, розхристана, простоволоса...

– Еени, няню, жарко, не спится...

– Може, блишки кусають?

– Ни, няню, блох нема... А так жарко. Я все думаю про Паля...

– От тоби на! Чи тебе не зглажено, часом?

– Ни, няню... А ты бачила Паля?

– Бачила, панночко... Що се вин тоби, дитятко, приснився?

– Не приснився, няню, а я так думала... Який вин, няню?

– Та старый, дуже старый. Такой старый, як ота тополя у перелазу... От, сказать бы, я стара: ще коли жив був старый Хмиль-Хмильницький и мене замиж отдавали, так и тоди

Палий був уже старый-старый, аж сивый... От уже я семьй десяток по земли вештаюсь, симсот, може, раз на мене смерть косою замахувалась, симсот, може, молоденьких дубкив, що мині на домовину росли, посохло и позрубовано, а я все, мов бовкун-зилля, бованию на свиси, а Палий Семен так и передо мною такий ветхий, як я перед тобою, моя зеленка ягідка...

– А який вин, няню, из себе?

– Великий та понурый, а очи оттаки, а вусы операци, сиви та довги, мов ретязи...

И старуха, сидя на полу, показывала, какие огромные глаза у Палия и какие длинные усы.

– Що ж вин робе, няню?

– Татар, та ляхив, та жидив бье. Ему так вид Бога наказано.

– А сам вин добрый?

– Такий добрый, рыбко моя, такий добрый, що и сказати неможно... Бо вин од святои золы уродивсь...

– Як от святои золы, няню?

– Так, от золы... В его й батько не було, тилько мати...

– Як же ж се, няньцю, я не розумию.

– А от як, рыбко моя... Оце був соби чоловік та жинка, а в их дочка Оленка. От и поихав той чоловік у поле орати. Оре та й оре, коли хресь! Щось хруснуло під плугом у землі... Дивиться чоловік, аж то голова чоловіча, та така велика голова, мов казан... От и дума той чоловіч: «Се, мабуть, великого лицаря голова, такого лицаря, що вже давно перевелись...» От вин, и взяв ту голову, дума: «Нехай батюшка пип над нею молитву прочитає, та помьяне, та водою свяченою скропить, та по-християнськи поховає...» Приихав до дому той чоловік и голову с собою привиз та й положив ии на лаву, а сем сив вечеряти... Повечеряв, а голова все лежить на лави. А жинка, глядючи на голову, и каже: «Мабуть, голова ця на своим вику богато хлиба переила». А голова й каже: «Буде вона ще исти...»

– Ох, няню! Се мертва голова сказала? – с испугом спросила Мотренька, поглядывая на окно.

– Та мертва ж, рыбко.

– Ох, як страшно!

– Чого страшно, рыбко? Се од Бога.

– Ну, няню?

– Ну, голова й воже: «Буду я ище исти...» От жинка та як злякається та у пичь ту голову й кинула... И стала та мертва голова билою золою... Выгрибли золу у горщик, поставили на лави, щоб москалям на поташ продати... А дочка того чоловіка, що найшов голову, не знала, що то зола, думала, що силь, та й посолила соби кусочок хлиба, так маленький шматочок, и зыла. Та важкою ото и стала...

– Важкою, няню? Як се б то?

– Важкою, рыбко. Ты сего не знаешь ще... Бог ий сына дав... од золы...

– Ну, няню, се казка...

– Яка казка?

– Та казка ж, няньцю?

– А Палий казка?

– Ни, няню, Палий не казка.

– Так то, бачь, рыбонько, и був сам Семен Палий, от золы родився... Тоди вин ще не був Палий, а просто Семеник Гурченко, бо его мати була Гурченкова... Той чоловік, що найшов мертву голову, був Гурко.

– Який Гурко? Що в Борзни?

– Та вин же ж борзеньский, рыбко... Ото Гурки в Борзни, то его родичи по матери та по дидови, а сам вин од золи родився, вид попилу... Ему б, бачь, треба було бути Золенком або Попилченком, а вин сам себе зробив Палием...

– Як же ж се, няню?

– А от як, рыбка... Як той Семеник, що вид попилу родився, став парубком, от и захтив козакувати: «Пиду, каже, мамо, а та пиду в Запороги». От и пишов. Йде-йде, дивиться, Запороги стоят, горы страшени. На горах тих запорозци стоят та й дивляться, сміються: «Як-то вин, молоденький хлопчик, на гору страшенну злизе...» Бо посередне гори, рыбка, на великому камини сидит, не к ночи будь сказано, сидит сам... – старуха остановилась.

– Хто сам, няню?

– Та черный, рыбка.

– Який черный?

– Та нечистый, сказать бы, чортяка...

– Ну? Се впять казка, няню.

– Ни, не казка, рыбка. От сидит та козинячими нижками тупотить та рогами в гору бье...

Мотреньке вспоминается козел, который сегодня шел на нее, потрясая бородой и рогами, и ей становится смешно...

– Так у его, няню, роги як у цапа?

– Як у цапа, рыбка... От вин сидит та нижками тупотить та рогами в гору бье... А Семеник як стрелит из мушкета, як загуркотит по горах, дивляться козаки, аж там, де сидив нечистый, одно поломья паше та смола пекельна кипить... Се, бачь, Семеник чорта убив, спалив его. От запорозьци й кажут: «Оце так козак! Оце так Палий, самого чорта спалив». А кошовый и каже: «Ну, брате, будь же ты Палием, та йди на Украину, та пали оттак усяку нехристь, як ты дидька лисого спалив». И с того часу став вин Палием.

– Ах яка бо ты, няньцю, – возразила Мотренька, – та се ж не про Палия розсказують, а про святого Юрия, як вин чорта спалив.

– Эге, рыбка, то таки святой Юрко, а се Палий... От и пишов Палий за Днепр на Украину. Иде та й иде. Як оце побаче татарина, так зараз из мушкета – лусь! И вбив татарина. А як побаче ляха, то зараз шаблюкою – брязь! И стяв головку у ляшка. А як побачить жидовина, то зараз на аркан его та на осину и повисить, як собаку... Так од самого Запорожжа до Украины и проложив великий шлях: зараз знати, де йшов Палий, оце тут татарин застреленный валяется у степу, а тут лях порубанный лежить, а тут жидовин повишенный висить, так и знати Палиеву дорогу... А сам вин, Мати Божа! Такий, що его ни пуля не бере, ни сабля не вруба, мов зализо. А оце як начнуть козаки с татарами або з ляхами битись, то Палий сам гарматы заряжае наххресть и бье за двадцать верст, а чужи гарматы до его не достают. А кинь у его такий, що ледве земля его держит, а на простого коня вин только руку положит, так то кинь на землю пада. А сабля в ёго в пять пуд, така важка. Як оце який козак провиниться, то Палий и дае ёму свою саблю нести, так той, бидный, аж стогне, не пидниме нести, а други козаки с ёго сми-ются... От такий-то, рыбка, той Палий...

А «рыбка» между тем, слушая болтовню старушки, спала крепким сном. Упав горячей головой на руки, положенные на подоконник, она долго прислушивалась к щелканью соловья и к монотонному говору старой няни; перед нею проходили, словно в тумане, образы Палия и Мазепы, которые сливались как бы в одно лицо, и только у Мазепы старые глаза искрились слезою, и Мотреньке стало его жалко-жалко... То выступал этот молоденький белокурый сердючок с пышною розою на шапке, то шел на нее никогда не виданный ею москаль Петр в виде огромного «цапа»... И сон неслышно подкрался к ней под щелканье соловья, так что когда няня подошла к ней, то увидала только белую спину, до половины прикрытую белой сорочкою, да черные волосы, густыми прядями лежащие на подоконнике... В окно уже заглядывала заря чудного, просыпающегося утра...

– А воно вже й спить... От дурна дитина! – тихо бормотала старуха, качая головой. – От дурне! Як же ж я его теперь положу на лижко, вже мене его не пидняти на руку: слава богу, выросло... Он, яке спасиби Богови, выгодавалось: здоровеньке, та повнотиле, та кругленьке,

мов яблочко червоне, и не вщипнешь его... А де ж его поднять! Мене, стару, переросло... О-о-хо-хо! А чи давно ж его на руках носила, кашкою, мов горобчика, годувала?.. Молоде росте, як твой мак цвите, та як мак и опадає: сонечко пригриє, витрець повие, весь цвіт розвіє... Поки дитина, поти й горя не знає, писни спиває та в косу стрички заплитає... Спи-спи, дитятко, пока кисою свитешь, горенька не знаєш... А прийде час, и его пизнаєш...

– У могили темно-темно, – слышится сонный лепет девушки.

– Господь с тобою, rybонька, яко могила...

– Гетьман могилу шукає...

– И нехай шукає... Можа, й могила его шукає давно, та не найде... А ты, дитятко, лягай спати...

– Я, я, няню, сплю...

Старушка тихо приподняла голову панночки. Та не сопротивлялась.

– Иди ж, рыбка, лягай...

– Иду, няню... нехай соловейко щебече...

– Спи, спи, мое золото червоне...

Девушка, поддерживаемая старухой, улыбаясь сквозь сон, перешла на кровать.

– Нехай соловейко щебече, а ты кажи про Палия, – бормотала она в полусне.

Недаром занимал Палий и Мазепу, и Мотреньку. В одинаковой мере он занимал и царя Петра, когда он, твердо ступив своею пятою на берег Невы и воткнув трезубец в пасть Швеции, мечтал уже поразить этим трезубцем и турецкую пасть в устьях Днепра.

Что же был Палий для Петра и Петр для Палия?

Палий действительно был борзенский казак, как уверяла и Устя, старая няня Кочубевны. Родовая фамилия его действительно была Гурко, а уже после, по народному обычаю, он получил прозвище Палия, с которым и перешел на страницы истории как последний представитель исторически вымиравшего казачества «тогобочной», Правобережной Украины, хотя сам родился в Левобережной Украине.

Тихим, добрым, ласковым хлопчиком рос Семеник Гурченко в своем родном городишке. Хлопчик этот всегда казался робким, застенчивым, а если его и любили товарищи-хохлята, то именно не за казацкие качества, а за то, что он был добрый и деликатный, «як дивчина». Обыкновенно эти качества не нравятся сверстникам; таких они называют «мизями», «плаксами» и другими подобными укоризненными «дражнениями». Но Семеника Гурченка, напротив, любили за эти качества, потому что с восковой мягкостью характера в нем амальгамировалась необыкновенно стойкая честность, самоотверженность и беззаветная доброта. Не умея плавать, он бросался в воду вытаскивать утопающих товарищей; голодный сам, он отдавал свой кусок голодной собаке; и чем существо, взятое им под покровительство, было жалче и беззащитнее, тем более убивался над ним Семеник. Под внешней робостью и застенчивостью в нем крылись поэтические инстинкты, и он любил степь больше, чем обработанное поле, горы и леса предпочитал садам Борзны, а пустыню его воображение населяло целым миром таинственных существ.

Когда Семеника отдали учиться в Киевскую коллегию, он показал необыкновенные способности, и здесь он уже начинал проявлять себя так, как потом проявлялся всю жизнь: он становился нечувствительно центром и головою кружка, в котором вращался; он всегда знал больше всех, успевал делать больше всех; все товарищи, пугаемые латынью и всеми школьными чудовищами, прибегали к Семенику, и Семеник разгонял эти чудовища с такою легкостью и скромностью, что товарищи невольно преклонились перед этою ласковою «дивчинкою».

Но вот он выучился, вырос, стал «козакувать»... Застенчивая «дивчинка» встречает другую, более бойкую «дивчину» с «довгою косою» и «бровями по шнурочку»... Начинаются свиданья «у вишневого садочку» по ночам, чтоб не стыдно было, «щоб не соромно було дивчину

обнимати»... Целовались-целовались и доцеловались «до рушников»... Вот и руки поп связал рушниками... А все Семенику и в церкви «соромно» было при людях взглянуть на свою невесту...

Оженился Семеник и овдовел... Где утопить горе великой потери, где размыкать тоску одиночества? Такие робкие, застенчивые натуры не скоро забывают «свое»... Где этот омут забвения? В степи, в пустыне, там, где от Украины осталась одна «руина», за Днестром, далеко от родины...

И Семен Гурченко пропадает, словно в воду канул...

Вынырнул он в Запорожье: это уже Палий, «такий козак, якого в роду-вику не видано»...

Но и в Запорожье заскучал он. Не такого простора искала душа его, не по сердцу ему была собачья жизнь: или сидеть сторожевой собакой, или ловить в поле татар, словно волков. Душа его искала дела живого, творческого... И затосковал он...

Нередко казаки и рыбаки видели одинокого Палия бродящим по берегу Днестра и об чем-то думающим. То сядет он на горе и смотрит куда-то вдаль своими добрыми глазами...

– Кто даст мне криле, яко голубине, и полечу? – часто шептал он молитвенно.

И он улетел из Запорожья. Видели его потом на той стороне Днестра, в Польской Украине.

Что же он там делал? Его неудержимо влекла к себе «руина» Украины, пустынная местность, бывшая когда-то цветущей страной, а потом свидетельницей кровавейших войн казачины с поляками, местность, на которой Хмельницкий добивал господство ляха над украинцем и где потом преемники его добились самую казаччину... Местность эта была разорена, разорена самым безбожным образом, как не разорена была когда-то даже Палестина, посыпанная римскою солью. Западная Украина была залита кровью, и над ней произнесено было проклятие земных владык: вывести из нее на левый берег оставшееся в живых население, и пусть она навеки останется «руиной».

Среди этой-то «руины» и явился Палий. Что он нашел там, этого он не мог забыть всю жизнь!

Страна лежала в развалинах; но и развалины уже перегнивали окончательно, прорастали травой и могильною плесенью... На месте обширных, цветущих некогда сел – кучи мусора, золы, разносимой ветром, и обуглившихся бревен... Кое-где уцелели трубы от домов, размытая дождем глина и кирпичи от печей да какой-нибудь покосившийся одинокий столб, свидетельствующий, что здесь когда-то стояли дубовые казацкие ворота, которые вели во двор, полный детьми, стариками, «дивчатами» и «молодицами», и ничего этого не осталось, ничего, кроме следов старого кладбища с торчащими кое-где крестами... Старики померли где-то в пути в новый казацкий Иерусалим, дети повзростали вдали от родины, «дивчата» и «молодицы» похоронили своих женихов и мужей под «руинами» дорогой Украины... Бурьяном позаросли обширные сельские площади, а следы улиц еще хранят память о прошлом в кое-где сохранившихся колеях от железных ободьев тяжелых возов чумацких... И поля вместо пшеницы поросли бурьяном, среди которого кое-где белеются кости человеческие, кости казаков, павших за эту дорогую «руину», когда она еще не была «руиной».

Заплакал Палий, когда увидал эту пустыню, усеянную сухими казацкими костями, и долго плакал он, припав лицом к крутой шее своего любимого коня...

– О чем плачешь ты, сын мой? – раздался вдруг голос позади него.

Палий вздрогнул... Кому быть в этой пустыне, проклятой Богом и людьми?.. Оглянувшись, он увидел старика, седая борода которого спускалась до пояса. На голове у него была скуфейка, нечто среднее между восточной фесой, только черной, и монашескою шапочкой. В руках у него был большой дорожный посох, а за плечами кожаная сума. В лице старика было столько доброты, а в черных глазах столько искренности и какой-то детской незлобивости, что Палий сразу узнал в незнакомце человека не от мира сего...

– О чем слезы твои, сыне мой по благословиению? – повторил незнакомец, осеняя крестом Палия, у которого на груди блестело большое серебряное распятие.

И вид, и благословение незнакомца расположили Палия к полной искренности.

– Плачу я над сею пустынею и над костями человеческими, отче, – отвечал Палий.

– Плачь, сын мой... дороже фимиама слезы сии перед Господом... Ты тутошний?

– Ни, отче, тогбочний.

– А ради какого дела пришел сюда?

– Поклониться праху предков моих, и сердце мое разорвалось при виде сей руины... Богом проклята, видно, отчизна предков моих...

– Не говори сего, сыне...

И незнакомец, сняв с плеч котомку, достал из нее толстую книгу в кожаном переплете.

– Читаешь, сын мой? – спросил старик.

– Читаю, отче.

– Раскрой пророка Иезекииля главу тридесять седьмую, – сказал старик, подавая книгу Палию.

Палий отыскал указанное место.

– Чти, сын мой.

– «И бысть на мне рука Господня, и изведе мя в Дусе Господни, и постави мя среди поля, ее же бяхе полно костей человеческих», – читал Палий.

– Се поле и се кости, – сказал старик, указывая на пустыню. – Чти далее.

– «И обведе мя окрест их около, и се мнози зело на лица поля и се сухи зело, – продолжал Палий дрожащим голосом. – И рече ко мне: сыне человекъ, оживут ли кости сия? И рекох: Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне: сыне человекъ, прорцы на кости сия. И речеши им: кости сухия, слышите слово Господне? Се глаголет Адонай Господь¹⁹ костью сим: се Аз введу в вас дух животен, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам Дух Мой в вас, и оживете, и увесте, яко Аз есмь Господь...»

Палий остановился от волнения. Книга дрожала в его руках. На него, ничего не боявшегося, напал страх, не страх, а священный ужас...

– Отче святой, мне страшно, – тихо сказал он, боясь взглянуть на незнакомца.

– Не бойся слова Божия... чти дале...

– «И прорекох, якоже заповеда ми Господь, – читал Палий, бледный, растерянный. – И бысть глас, внегда ми пророчествовати, и се трус, и совокупляхуся кости, кость к кости, каяждо к составу своему. И видех, и се быша им жилы, и плоть растяше и протяжеса им кожа вверху, духа же не бяхе в них. И рече ко мне: прорцы о Дусе, прорцы, сыне человекъ, и рцы духови, сие глаголет Адонай Господь – от четырех ветров прииди душе, и вдуни на мертвые сия, и да оживут. И прорекох, яко же повеле ми, и вниде в ня дух жизни, и ожиша, и стаха на ногах своих, собор мног зело...»

Палий зарыдал и упал на колени.

– Отче свитый... благослови мя... – молился он.

– Встань, сыне... Я грешный человек... встань...

– Ох! Боже! Боже! Оживут ли кости сия? – рыдал Палий, целуя книгу.

– Оживут, оживут, и будет собор мног зело.

– Благодарю тя, Господи Боже! Благодарю тебя, отец святой!.. Но кто ты?

– Я скажу тебе, кто я... Ты в Хвастов идешь?

– В Хвастов, отче.

– Так пойдем вместе, дорогой ты все узнаешь...

¹⁹ Адонай Господь – одно из десяти главных имен Бога: Эль, Элоим, Эльхи, Саваоф, Элион, Эседерхи, Адонай, Иах, Тетраграмметон, Садаи.

VI

– Я Юрий Крижанич²⁰, Словении, из Загреба, града цесарского, – начал свой рассказ незнакомец. – Ныне возвращаюсь в отчину свою из Москвы, отряхнув прах московский от ног моих, чтобы лечь в родную землю. Многотрудна была жизнь моя, сын мой, но я не жалею о том, что потрудился и пострадал ради великого дела. Я вижу, что ты истинно любишь страну свою, и я открою тебе то великое дело, ему же я отдал и жизнь мою и душу мою. Дело сие благословил Бог бессмертием, и подобно тому, как воскресли сухие кости человеческие под дуновением Духа Божия, так воскреснет дело сие под дуновением духа жизни.

Крижанич остановился. Палий вспомнил, что слышал когда-то это имя, но где и от кого, не припоминал.

– Разверну я перед тобою, сын мой, свиток жизни моей, и ты узришь, куда привела меня нитка моей жизни, – продолжал Крижанич. – Родился я в Загребе-граде и в оном же отдан был в книжное научение. С детства осталось в моей памяти нечто обидное, горькое: уже в школе немчата тыкали в меня перстами и попрекали меня тем, что я словенин, «склавин» – раб сиречь... Ты разумеешь, сын мой, латинскую речь? – вдруг обратился он к Палию.

– Разумею... Я учился в Киевской коллегии.

– Так ты поймешь меня, яко человек просвещенный... Так я и пошел с отрочества за «раба». В Вене потом учился я, и наименование «раба» не снимали с меня, а глумились еще более над моим несчастным рождением от матери-рабыни. Но жажда знания росла во мне с годами; я отправился к самому источнику мудрости человеческой, в университет, в Болонию. Я жадно пил из сего источника, как только может пить раб, чающий своего освобождения. Но на мне тяготело проклятие, на мне оставались следы словенской проказы: я был словенин. Из Болонии ушел я в Рим, а словенская проказа была у меня за плечами: и в Риме я чувствовал себя прокаженным... Но не было Христа, который исцелил бы меня, а если бы и исцелил, то оставались бы миллионы прокаженных словен... Я много трудился, сын мой, много писал, а жажда моя все еще не была удовлетворена, ибо жажда сия превратилась в жажду вечную; я думал найти Христа, который бы снял проказу с словенского тела... Я направил стопы мои в Царьград с мыслью поискать и там Христа для спасения словенского рода; но там я нашел токмо алчность и лживость греческую и вспомнил бытописателя вашего, преподобного Нестора: «Суть бо лъстиви греци и до сего дне...» Там же я нашел, что словенские народы превратились в вола подъяремного под турецкою властью и некогда славные болгаре, сербы и илирцы стали притчею во языцех... Тогда я обратил мои взоры на север, к великому народу российскому, не найду ли там спасителя словенства, который бы снял проказу с тела словенского. Пришед в Вену, я обратился к бывшему там посланнику московского царя, к Якову Лихареву с товарищи. Лихарев усердно звал меня на службу в Московию, обещая мне царское жалованье таково, «какого-де у тебя, Юрия, и на уме нет...». Но не жалованья искал я, а Спасителя словенского.

Крижанич опять остановился. Седая голова поникла в раздумье и изредка вздрагивала.

– И что же, отче, нашел в Москве кого искал? – спросил Палий, грустно глядя на старика.

– Нашел...

Крижанич опять остановился. Видно было, что тяжело говорить ему, что в памяти его разбередились какие-то раны, еще не зажившие. И Палий молчал. В его душе слышался чей-то таинственный голос: «Сыне человечье, оживут ли кости сия?...» И ему казалось, что пустыня

²⁰ Крижанич Юрий (ок. 1618–1683) – священник-миссионер из хорват. Проповедовал единое культурное и политическое объединение славян, унию католической и православной церквей. В 1661 г. приехал в Москву. Как проповедник униатства был сослан в Тобольск. Разработал программу реформ для России. В 1676 г. выехал из России.

оживает, совокупаются сухие кости казацкие, кость к кости, каждая к составу своему, и кости связываются жилами, и растет на них плоть, и плоть покрывается кожей... Боже! Какой собор людей! Конные и пешие, и знамена веют по воздуху, и бунчуки косматые развеваются, и чубы казацкие по ветру распушены...

– Да, нашел я, сын мой, нашел в Москве... ссылку, Сибирь, – продолжал как бы про себя Крижанич.

– Ссылку? Сибирь?

– Сибирь, сын мой... В Сибирь послал меня царь искать Спасителя словенства...

На лице Палия выразилось глубокое изумление.

– Который царь сослал тебя? – спросил он.

– Тишайший.

– И долго ты пробыл в Сибири?

– Пятнадцать лет, до смерти Тишайшего.

– За что же сослали?

– Богу одному ведомо... Но думаю, что по какому ни на есть подозрению: боялись меня. А может, и за то, что царю докучал я своим словенским делом... О! Тяжко было мне, сын мой, говорить с человеком, от которого зависит спасение всего словенского мира и который не понимает своих выгод. Я говорил ему: посмотри, державный владыко севера, как гнется под немецким и турецким ярмом व्या болгарина, словенина, хорвата, серба, илирца, чеха... Он уподобляется Христу, ведомому на распятие и несущему свой страстный крест, а ты, о царю! уподобляешься Агасферу²¹, не токмо не помогшему Спасителю нести его тяжкий крест, но и не давшему ему успокоения при доме своем... я громко вопиял к царю: помни, о царю, участь Агасферову; не поможешь ты ныне словенам снять с себя тяжкий крест мученичества, этот крест падет на выю твоих преемников, царей российских, и тогда крест сей будет еще тяжеле – тяжеле целыми веками страданий словенских народов. Вместо тысяч жертв во искупление словенства преемники твои принесут на алтарь словенства миллионы жертв, ибо России не избыть того, что предопределено ей Провидением. Чем раньше совершится сие, тем легче самое совершение. И не ради себя должен ты сделать сие, а ради их: не думай завоевать их, расширять твое царство насчет словенских народов, ты только освободи их, и ты будешь в тысячу крат сильнее и могущественнее того, чем ежели бы ты покорил их под власть свою...

Старик снова умолк.

– Чудна, чудна Москва, – проговорил про себя Палий в раздумье.

– Ты что говоришь, сын мой? – спросил Крижанич, как бы очнувшись от забытья.

– Так кажу, дурна Москва, – отвечал Палий по-украински.

– Истинно дурна: выгод своих не понимает...

– Так за що ж царь розсердивсь? – продолжал по-прежнему Палий.

– Не царь, а бояре, думаю... Я говорил царю: покорение словенских народов – все гибель Московского царства, сие покорение будет не иное что, как самоукушение скорпиено... Покопивши дунайских ли словен, ляхов ли, болгар ли, Москва всенепременно наложит на них железную цепь тяжких законов царя Ивана Грозного и царя Бориса-татарина: она наводнит словенские земли своими темниками и баскаками, приставами да целовальниками, боярами да стольниками²², дьяками да подьячими; и сие зло злее зла турецкого, злее яду немецкого...

– Се б то дуже правда, – покачивал головой Палий.

– Какое не правда! Познал я московскую душу: ее и в десяти водах не вываришь...

²¹ Агасфер – согласно Евангелию, отказал Христу в отдыхе в своем доме во время крестного пути на Голгофу. В наказание был обречен на вечное скитание до второго пришествия Христа.

²² Стольник – придворный чин-должность на Руси в XIII – XVII вв. Первоначально прислуживал при трапезе царям и великим князьям, позднее назначался на воеводские, посольские, приказные должности.

– Так-так... Он и у нас, на Украине, Москва вже свои порядки заводит, така вже московска натура ижаковата...

– И я сие сказывал царю.

– Що ж вин?

– Милостиво молчал и шубу с плеча своего пожаловал мне...

– А там и гайда! У Сибирію?

– Да, сын мой.

Палий даже рассердился. Он передвинул свою курпейчатую шапку с одного уха на другое и с досадою остановился.

– Так це все бояры?

– Бояре, кому ж больше: они и царя обманули.

– Ах, гаспидовы дити! От ироды! А царь и не знав ничего?

– Ему доложили, якобы мне «надобеть быть у государевых дел, у каких пристойно», и сослали в Тобольск.

Рассказ Крижанича произвел на Палия тяжелое, удручающее впечатление. Опять перед ним вставало поле, усеянное костями человеческими; но кости эти уже не оживали... «Не оживут кости сия», – звучала под сердцем плачущая, погребальная нота... Кто поможет воскресению сухих костей? На кого надежда?

Крижанич угадал его мысль и кротко посмотрел на него старческими, ясными, как у юноши, глазами.

– А все-таки, сын мой, оживут кости сия, – с глубоким убеждением сказал он.

– Хиба Духом Святым? – грустно заметил Палий.

– Духом животным, сын мой... А кто ты? Как имя твоє? Я и не спросил тебя.

– Я Семен Палий из Борзны... Був запорожцем, а теперь... – Он остановился.

– Хочешь оживить кости сии?

Палий молчал: вера в Москву вновь была глубоко потрясена.

– Не отвещай, я знаю, – продолжал старик, – я умею читать душу человеческую на лицах людей... Я прочитал твою душу... Ты оживишь кости сии...

– Как же, отче? Научи!

– Знаешь, сын мой, как засевают поле, поросшее волчцами?

– Знаю...

– Засей же поле сие пшеницею, и волчцы погибнут... Кости оживут... Как зерно всходит пшеничным стеблем и колосом, так кости сии взойдут людьми живыми... Живая пшеница за Днепром: кликни клич, и пшеница сама придет сюда, и ты засеешь ею сие поле мертвое, и «оживут кости сии»...

Палий видел, что эта мысль отвечает его собственной, давно лелеемой мечте. Еще будучи в Запорожье, он много думал о судьбе Западной, Заднепровской Украины, и ему казалось, что безбожно было бы оставлять ее «руиною». Эта «руина» под боком у Киева. Ксендзы уже угнездились в Хвостове и, как пауки, начали растягивать свои цепкие нити по Волини, Подолии и Полесью. Сухие кости казацкие уже хрустят под копытами панских коней...

А тут этот таинственный, неведомо откуда явившийся старик с апостольскою бородою и речью пророка, с этим не от мира сего выражением глаз, читающих душу чужую, как раскрытую книгу, эта мертвая тишина степи, нарушаемая лишь иногда мерными взмахами белых крыльев луны, словно разыскивающего по «руине» погибшие казацкие души, да звонкий клекот в вышине орла, не находящего себе добычи, – все это сковывало впечатлительную душу Палия священным ужасом... Кто этот старик? Куда он идет, чего ищет?

«Бысть человек послан от Бога... к своим прииде, и свои его не познаша» – невольно повторяется евангельский стих.

– Сеять, сеять подобает на новой ниве, – говорил как бы сам с собою старик. – А сеятели лукавы суть...

– Какие сеятели, отче?

– Лукавые... Один – Дорошенко²³, гетман сегобочный, другой – Самойлович²⁴, гетман тогобочный... Оба они сеют на чужое поле, – продолжал старик вполголоса, не поднимая головы.

– А третий сеятель?

– Мазепа...

– Осавул енеральный?

– Он... Се диавол в образе сеятеля... Плевелы он сеет, и заглушат сии плевелы всю Украину...

– Да он еще не гетман.

– Будет гетманом... Гетманскую булаву он уже носит за пазухою, у сердца лукавого.

– А Дорошенко и Самойлович?

– Дорошенко на турецкую ниву сеет словенское добро, а Самойлович на московскую, на боярскую... никто не сеет на свою ниву, на народную...

Крижанич остановился. Сгорбленная спина его выпрямилась. Он положил руку на плечо Палия и глянул ему прямо в очи.

– Семен Иванович, – сказал он медленно.

Палий вздрогнул от этих слов, он точно испугался чего и с недоумением глядел на старика.

– Как ты познал мое имя? – робко спросил он.

– Я давно его знаю, и тебя знаю, – загадочно отвечал Крижанич. – Хочешь добра земле своей?

– Хочу, видит Бог.

– Помнишь историю народа израильского?

– Помню.

– И работу египетскую?

– Помню, отче.

– И Моисея?

– Все помню.

– Будь же Моисеем народа украинского... Изведи из плена латинского в сию Палестину... Помни, сын мой, что сила народов в согласии их... Когда оживет пустыня сия, и кости сухие восстанут, и будет собор мног зело, соедини десницу народа украинского с шуйцею, тогобочную страну с сегобочною, и тогда не страшно для вас будет жало латинское... Жало сие злее жала скорпия для словенского рода: Польша уже гнить начинает от сего змеиною яда и сгниет она... А вы останетесь и живы будете... Придет время, вы познаете других братьев своих, словен... О! Много горького будет между братьями, горькую чашу испити имать род словенский... Но горечь сия, верь мне, будет ему во спасение... Только помните: *Concordia parvae, res crescunt*...²⁵

Крижанич остановился, как бы что-то припоминая. Палий не прерывал его молчания, он был слишком взволнован.

– Прими же мое благословение, – снова заговорил Крижанич, – и не забывай меня, сын мой... Не забывай и словес моих, не мои то словеса, а Божьи: я умру, а словеса сии не умрут...

²³ Дорошенко – Дорошенко Петр Федорович (1627–1698) – гетман Правобережной Украины. Пытался объединить Украину в единое государство как протекторат Турции. В 1676 г. сдался в плен русским войскам. Далее следы его жизни теряются.

²⁴ Самойлович Иван (ум. 1690) – гетман Левобережной Украины после свержения в 1672 г. Д. Многогрешного, выступал за единую Украину под властью Москвы. Обвинен И. Мазепой и старшиной в сношениях с Крымом, сослан в Сибирь, где и умер.

²⁵ При согласии и незначительные дела вырастают (лат.).

Я теперь иду на родину, и там, на краю гроба, став ногою у самой могилы своей, крикну к словенскому роду: «От четырех ветров прииди, о душе словенск, и вдуни на мертвые сия, и да оживут!...»

Много лет прошло со времени встречи Палия с старым энтузиастом Крижаничем. Сам Палий стал уже ветхим, хотя бодрым стариком. И Крижанич, и Дорошенко, и Самойлович отошли в вечность. Мазепа вынул гетманскую булаву из-за пазухи и царствует над Украиною в качестве холопа царей московских...

А Палий все засекает «руину» новою человеческою пшеницею... О! Как мощно взошла новая великая нива украинская! Какой налила богатый, ядреный колос яровая пшеница Заднепровья!

Бывшая «руина» опять превратилась в страну, текущую молоком и медом... Ожила заднепровская казаччина... Сухие кости ожили, и стал собор мног зело...

Как оживали эти сухие кости, как скреплялись жилами, покрывались плотью и кожей, об этом, благосклонный читатель, зри почтенных историков: Соловьева, Костомарова, Антоновича, Кулиша, а в особенности Костомарова, который уже заготовил и полотно, и краски, и кисти для создания великой картины «руины» и ее воскресения... Я же, благосклонный читатель, поведу тебя туда, куда не смеет проникнуть историк, и покажу то, чего историк показать не может. Я поведу тебя в область творчества, черпающего свои идеалы из архива более обширного, чем все архивы государства, открытые историку, и, не отступая от исторической правды, покажу тебе самую душу исторических деятелей: для нас открыты самые сокровенные думы Палия; мы проникнем в темную глубину души Мазепы; мы подслушаем, как бьется сердце у спящей Мотреньки, о чем грезит эта «неслухьяна дитина»...

Не спится и старому Палию в эту жаркую ночь, как не спится Мотреньке... Мотреньке не дают спать молодые грезы; беспокойное сердце колотится под горячею от жаркого тела сорочкою, а Палию не дают спать старые думы...

О! Многое думается этой сивой, почти столетней голове казацкого батька... Вон каким пышным цветом цветет «руина», некогда представлявшая обширное разрытое кладбище, усеянное сухими костями казацкими. Вот бы теперь прийти сюда тому старцу словенскому, Юрию, который благословлял эту степь своею старою дрожащею рукою, да поглядеть на нее да поплакать от радости...

И усталые от бессонницы очи Палия плачут теплыми, хорошими слезами.

Нет, не прийти уж, верно, старцу Юрию, где прийти! В могиле, поди, отдыхают его святые, нывшие за словенский род старые кости...

Тихо кругом, сонно... Палий выходит из своего дома, что в Белой Церкви, садится на рундучке и думает, думает, думает... Что за тихая ночь! Темное небо усеяно звездами, много их, как много казаков на всей этой степи, по всей Хвастовщине и по Полесью... Вот уж сколько лет, словно пчелы за маткою, летят в Хвастовщину казаки и голота со всех концов, все до Палия, до батька казацкого... И запорожцы чубатые идут «погуляти», и волохи черномазые целыми поселками валят в Хвастовщину, и подоляне идут сюда же, и Червонная Русь, и Волынь, все бредет в царство батька козацкого, Палия Семена Ивановича... Мазепинцы, левобережные, словно саранча, летят сюда же, и нету им удержу, не устеречь их караулам Мазепиным... И лютует на Палия старый, лукавый Мазепа. Да и как не лютовать ему! Сам видит, что у Палия житье людям привольнее, чем у него, в гетманщине... А сам и виноват же... Лядским ладоном прокурен Мазепа Иван Степанович, ляхом смердит от всего духа мазепинского, так и остался старым королевским пахолком, что блюда лизал в королевских передних, да и всех молодых, знатных казацких сынов в пахолков перевернуть хочет... Где ж тут, у чертовой матери, хотеть, чтоб казаки его любили! Вон он, старый пахол²⁶, панство на Украине расплодить хочет, мало

²⁶ Пахол^{ок} – слуга.

польское панство залило сала на шкуру народу украинскому! «До живых печенок» дошло это панство! А он и свое, казацкое панство на поругу народу разводит...

А эти ляшки-панки, словно осы в улей с медом, забрались в Украину, да так и гудут около Мазепы в охотничьих, да компанейских, да сердюцких полках... Так и этого мало, надо своих трутней в улей напускать... Ну и напустил бунчуковых товарищей²⁷, землю у поспольства отнял, панщину завел вражий сын, да еще на старого Паляя лютует... То-то! Засел в свой Батурин, окопался, как в чужой земле, и носу показать без сердюков да московских стрельцов не смеет... Пропадет за ним милая Украина!

Вон недавно проезжал через Хвастов к святым местам поп московский, отец Иоанн, по отчеству Лукьянов²⁸, так говорил «не абы яке» про Мазепу...

– Крипко сидит там гетман? – спрашивал попа Палий.

– Да крепок-то он только стрельцами, и он, и Батурин его, на караулах все москали стоят, целый полк стрельцов живет в Батурине. Анненков полк с Арбату...

– А народ, поспольство?

– Яко собака перед горячею кочергою... Коли б не стрельцы, то б хохлы его давно уходили, что медведя в берлоге, только стрельцов и боятся, а он без них не ступит и шибко жалуется им, все им корм, да корм, да пития всякие...

Недаром сегодня Палий, проходя по рынку, слышал, как старый запорожец «на бандури выгравав та словами промовляв»:

Хочь у нашего Семена Паляя и не велике вийсько охотнее,
Тилько одна сотня, да и та голая.
Без сорочок и штанив, тилько с очкурами.
А буде та сотня голая,
Буде та сотня бесштанняя,
Буде паньскую тысячу убраную,
Аksamитом²⁹ крытую,
Шовками пошитую —
Буде мов череду гнати,
У пень рубати,
Буде великим панам великий страх завдавати...

А казаки да голота слушают да смеются, так и «регочут» на весь рынок... «Добре! Добре, брате, граєш, правду промовляєш!...»

И радостью искрятся старые очи Паляя при этом воспоминании... Доброе что-то проходит по его ветхому, такому же, как и в детстве, кроткому лицу...

– Добри в мене дитки-козаки... Хочь голи, та весели...

Да и поп этот московский, отец Иоанн Лукьянов, что от святых мест ехал на Белую Церковь, «таке чудне попиня»... Турки, что провожали его с купцами по степи, боятся, говорит попик, Паляя...

– Мы б вас с радостью и до Киева проводили, говорят, да боимся Паляя вашего: он нас не выпустит вон от себя, тут-де и побьет...

– Чудни турки...

– То-то чудны... У нас, говорят, про Паляя страшно грозная слава...

²⁷ Бунчуковый товарищ – почетный войсковой старшина при гетмане в роли его адъютанта.

²⁸ Иоанн Лукьянов – старец Леонтий, московский священник-старообрядец. В 1701–1702 гг. совершил паломничество в Иерусалим, оставил «хождение» под названием «Путешествие в Святую землю».

²⁹ Аксамит – драгоценная ткань с золотыми и серебряными нитями в основе, плотная и ворсистая, как бархат Рытый аксамит – с тисненым узором.

– Овва-бо! Яка вже там гризна!

– Еще бы! Мы, говорят, никого так не боимся, как Палия... Нам-де и самим зело хочется его посмотреть образ, каков-де он?

И доброе лицо старика светится детски-старческой улыбкою.

– Образ... у мене образ... От дурни!

И старик, сойдя с рундучка, тихо побрел через обширный двор к леваде, усаженной вербами. Начинало светать, но вербы со своими густыми, низко опустившимися ветвями казались еще совсем темными, и только в просветах между ними виднелось небо, розовые краски которого обещали прелестное утро. Две собаки, которые спали, разметавшись среди двора, словно бы уверенные, что не их дело лаять, когда не на кого, увидав хозяина, поднялись с земли и, точно по заказу, замахали хвостами, как бы говоря: «Ну вот соснули и мы маленько, а теперь за дело...»

– То-то, выпались, сучи дити, – ласково бормочет старик, – знаете, що я, старый собака, не сплю...

У конюшни, распластавшись на соломе, спят хлопцы, которые всю ночь гуляли «на улице» и напролет всю ночь горланили то «Гриця», то «Ой сон, мати», то «Гоп, мои гречаники»...

– Эх, вражи сыны, набигались за ничь за дивчатами, – продолжает ласково ворчать старик.

А там кони, узнав хозяина, повысовывали морды в открытые двери конюшни и ржут весело...

– Що, дитки, пизнали старого? – обращается он к коням...

А вот и утро, совсем светло становится... Вдоль левады ко двору приближается конный казак и, узнав батька Палия, осаживает лошадь...

– Здоров, Охрime, – ласково говорит Палий.

– Бувайте здорови, батьку, – отвечает казак, снимая шапку.

– Звидки?

– Та з Киива ж, московського попа проводили.

– Отца Иоанна?

– Его ж.

– Добре.

Казак что-то мнетя, копаясь в шапке. Вынув из шапки хустку³⁰, он достает из нее что-то тщательно завернутое.

– Що в тебе у шапци там, київський бублик, чи що? – улыбаясь, спрашивает Палий.

– Ни, батьку, не бублик.

– Так, може, гарна цяця?

– Ни, батьку... Ось де воно гаспидське, – радостно сказал казак, вынув из платка какую-то бумагу и подавая ее Палию.

– Що це таке? – спрашивает этот последний.

– А Бог его знае, що воно таке е... писано щось...

– А где взял?

– У Паволочи дали... У того козака найшли за скринию, де московський пип ночував... Може, воно яке там, Бог его знает, що воно надряпано... Може, й песа там наколупано...

И Палий, развернув бумагу, прочел:

– «А в Хвастове по земляному валу ворота частые, а во всяких воротах копаны ямы да солома настлана в ямы, там палиевщина лежит, человек по двадцати по тридцати, голы, что

³⁰ Хустка – платок.

бубны, без рубах, нагие, страшны зело; а в воротах из сел проехать нельзя ни с чем, все рвут, что собаки: дрова, солому, сено, с чем ни поезжай...»

– Бреше гаспидив москаль, – не утерпел казак, – бреше сучій сын...

Палий улыбнулся.

– Себ то ты попа так, Охрime?

Охрим смутился, но не растерялся...

– Ох, лищечко... Хiba ж се пип пише?

– Пип, Охрime.

– Так окрим его священства... А все же бреше..

– «А когда мы приехали в Паволочь, – продолжал читать Палий, – и стали на площади, так нас обступили, как есть около медведя, все козаки-палиевщина: и все голутьба беспорточная, а на ином и клока рубахи нет, страшные зело, черны, что арапы, и лихи, что собаки, из рук рвут. Они на нас стоя дивятся, а мы им и втрое, что таких уродов мы отроду не видали; у нас на Москве и на Петровском кружале не скоро сыщешь такого хоть одного...»

– А то ж! Воно трохи й правда, – заметил старик, кончив читать и догадавшись, что это, вероятно, листок из дневника или путевых заметок отца Иоанна, оброненный в Паволочи.

Как бы то ни было, но листок этот заставил задуматься старика. По листку Палий мог судить, какие вести и в каком виде доходят о нем до Москвы, до бояр и до царя, и насколько эти вести отвечают его задушевным, глубоко тайным от всех планам... Вести не лестные: они могут только бросить тень на то, что всю жизнь лелеял Палий в своей казацкой душе, а теперь уже светилось вдали не то путеводною звездою, не то погребальным факелом... Ведь могила-то уж не за горами...

– Спасиби, Охрime... Приходь сгодя, дило буде, – сказал старик и, поникнув седой головой, снова направился к дому, бормоча: – Бидна Украина... коли-то твое сонечко встане?..

Солнце действительно вставало, но не то, которого искали старые очи Паляя Семена.

VII

Много было в то время работы Палию, и было о чем подумать; и молодому черепу так в пору бы лопнуть от дум беспокойных, от тяжелой неизвестности, которая тяготела над Правобережной Украиной, которую старые, но еще мощные руки Паляя буквально вынули из могилы, как о том пророчествовал Юрий Крижанич... Не хочет брать Паляя с его воскресшею Украиною под свою высокую руку московский царь, да и как ему взять его и всю его буйную Палиевщину под свою руку, когда он шибко задрал шведского короля, отнял у него ключ к морю Варяжскому, и сердить Польшу не приходится. А взять Паляя – значит рассердить Польшу, потому: Палий-де полковник в подданстве состоит у польского короля, союзника царского, да вся Правобережная Украина, вся Палиевщина – польская земля... То-то польская! Разодрали бедную Украину по живому телу надвое: одну половину Москва взяла, другую, Правобережную, дали польским собакам на съеденье... Так не быть же этому! Старый Палий все собачьи зубы переломает у ляхов, а не даст им Украины! Вон сколько воды в Днепре, что бежит к морю мимо Киева: то кровь да слезы украинские, а не вода... Как же отдать все это ляхам? Пускай лучше уж с мертвого сымут сорочку, когда Палий умрет, а Украину он не отдаст ляхам... Не Иуда он, чтобы продать Христа; да и Иуда и тот удавился... А то царь пишет, покоришься ляхам, отдай им мать родную на поругу... Царю хорошо: он там у самого моря новый город строить начал, это он свечечку затеплил там в память пращура своего, Александра Невского... А Палию велит загасить свечу, что он затеплил над могилой Украины... Не бывать этому! Лоб расшибут поляки об стены Белой Церкви, что укрепил Палий. Не видать им как своих панских ушей ни Богуслава, ни Корсуна, ни всей Хвастовщины, ни Полесья, ни Побережья, все это Палиево; умрет, так Богу завещает свою отчину – Украину, а не панам на прогул, да на пропляс, да на венгржин, да на мазура...

А и поп этот московский, отец Иван Лукьянов, подозрителен. И туда из Москвы ехал, в Царьград, так все высматривал да вынюхивал и назад теперь с караваном торговых московских людей шел, так тоже до всего докапывался. Уж не подослан ли кем?..

Вот уж и солнце высоконько взошло. Казак Охрим, что приехал из Паволочи, успел соснуть и идет к батьку-полковнику. Палий сидит на рундуке, в холодку, под навесом своего дома, и завтракает: на белой скатерти, постланной на небольшом дубовом столе, стоит сковорода с шипящею яичницею; тут же на столе белая «паляница», хлеб, огромный каравай, с воткнутым в него ножом; тут же и «пляшка» с «горилкою-оковитою» и серебряная с ручкою чара. Палий ест шипящую яичницу, прямо со сковороды, круглую деревянную ложкою... Тут же и собаки облизываются...

- Що, Охрime, выпався? – спрашивает старик, завидев казака.
- Выпався, батьку.
- А снидав?
- Снидав.
- А оциеи не цилював? – указывает Палий на бутылку с водкой.
- Зачепив трохи, батьку, – улыбается Охрим.
- А ну, зачепи ще. – И Палий наливает чару.

Охрим бережно, словно Чашу с Дарами, берет чару в правую руку, потом передает ее левой, широко крестится, снова берет чару в правую руку и опрокидывает ее под усы, словно в пропасть...

- На здоров'ячко, – говорит Палий, утирая рушником губы.
- Нехай вас Бог милує, батьку, – отвечает Охрим, ставя чару на стол.
- Тепер побалакаємо... Що там у вас у Паволочи?
- Спасибо Богови, усе горазд.

– Козаки не скучают?
– Скучают, батьку... На долонях, кажуть, шерсть пророста...
– Оттакои! Як на долонях шерсть пророста?
– Давно, кажуть, ляхив не били, тим и пророста!
– Эч, вражи дити... А що пани моя стара?
– Пани матка здоровеньки, кланяються.
– А московського попа бачила?
– Бачили... вони ж его й привитали и обидом частували.
– А купци московськи, що з им були?
– И их пани матка частували... Не нахваляться москали. – «От, – кажуть, – так полковниця! Вона, – кажуть, – и цилым полком управит, хочь на войну, так поведе...»
– О! Вона баба-козак у меня, – улыбаясь и моргая сивым усом, говорит Палий.
– Та козак же ж, батьку...
– Козак-то козак, тилько чуб не так...
И Охрим осклабляется на эту остроту старого полковника.
– Москали казали, що пани матка у нас така, як он у их Москви була царевна Сохвия, козырь-дивка...

– Эге! Козырь-дивка... Высоко литала, тильки царь ий крыла прибурав.

Разговор шел о второй жене Палия, на которой он женился уже в Хвастовщине, когда начал превращать «руину» в цветущую Украину. Палииха была женщина умная, энергичная, как раз под пару неугомонному старику, этому Иисусу Навину³¹ Заднепровской Украины, который на время остановил солнце Западной Малороссии, склонявшееся к закату и погружавшееся в мутные воды Речи Посполитой. В отсутствие мужа, который был в беспрестанных разъездах, то воюя с поляками и татарами, то сооружая крепости, Палииха брала правление полком и землю в свои умелые руки, и из этих рук ничто не вываливалось: она отдавала приказы казацким старшинам, выслушивала их доклады, держала суд и расправу, принимала посланцев со всех мест – из Киева, из Батурина, от польской шляхты. По всей Правобережной и частью по Левобережной Украине раздавалось имя «пани матки», «Палиихи», почти столь же громко, как имена Палия и Мазепы.

Историческая судьба украинской женщины и женщины московской, великорусской, представляет собою явления, далеко не похожие одно на другое. На жизнь московской женщины, особенно боярыни и боярышни, а равно жен и дочерей всех «лучших», по тогдашнему выражению, «людей», татарщина наложила вековую печать тюремности и замкнутости, печать, которую пробовали было сорвать с этой отатаренной жизни первые вольнодумки Русской земли – мать царя Петра Первого и сестра его, царица Наталья Кирилловна Нарышкина и царевна Софья, но не осилили и которую уже сорвал сам Петр вместе с кусками живого русского мяса и с переломом ребер и голеней Русской земли. Московская женщина ничего не знала и не видала, кроме терема и церкви. Эта тюремная жизнь скрашивалась только возможностью от утра до ночи, не разгибая спины, сидеть над нехитрыми рукодельями, шить и вышивать пелены, ризы да воздухи для церквей и попов, кроить и строчить для себя кики, да повойники, да душегрейки да иногда пропеть грустную песню о том —

Как мил сердечный друг меня не любит,
Он кормить-поить меня, младу, не хочет...

Каторгу выносила московская женщина, а не жизнь, и из домашней тюрьмы-терема ей оставался один-два выхода: либо в монастырь, в «темну келью», на новую тюремную жизнь,

³¹ Иисус Навин – преемник Моисея, приведший народ Израиля в Землю обетованную.

либо на погост, на вечное успокоение... Государственная, общественная и даже уличная жизнь проходила мимо московской женщины, не задевая ее, не интересуясь ею, и только задевало ее время, проводя черты и резцы по ее отцветающему лицу, вплетая серебряные блески в ее косу русую, вечно прикрытую, мало-помалу задувая огонь ее очей... Выходила московская женщина замуж, не зная и не видя своего суженого это была не радость для нее, а суд, суд Божий да суд батюшков да матушкин, за кого «осудили» ее выдать, тот и «суженый» ее, и этого суженого ни конем не объедешь, ни пешей от него не убежишь. И стала – исторически, наследственно – стала московская женщина бабою, у которой волос долог, да ум короткий... А где было ей набраться этого ума, чем отрастить и обострить его?

Не такова была историческая судьба украинской женщины. Над Украиною не тяготела татарщина и не отатарила ее, как землю Московскую, не заперла украинскую женщину в терем. Над Украиною татарщина пронеслась ураганом, оставив повсюду следы разрушений, но отатарения там не было; после урагана историческая жизнь дала новые, свежие побег. Эта своеобразная жизнь создала пресимпатичный и препозитивный тип вольного казака, который не терпел никакой узды, ни повода. Эта же жизнь создала и своеобразный тип украинской женщины, которая никогда не была ни рабою, ни теремным, бесполезно прозябаемым растением. Украинская женщина росла, часто, по целым годам, не видя ни своего «татка любого», ни своих «братиков милых, як голубоньких сизых», которые рыскали «по степях та по байраках», с ляхами да татарами воюючи да своим казацким белым телом «комаров годуючи». Выходила украинская «дивчина» замуж всегда по любви, потому что, живя на свободе, любя до страсти «вулицю» и «писню», хороводясь с козаками-парубками по целым ночам на общественных сходбищах, видаясь с ними и тайно то в «вишневых садочках», то «у темному лузи», то «коло криниченьки с холодною водиченькою», она успевала изучить своего милого и знала, за кого выходила. А там глядит – ее милый «стрепенувся та и полинув» с ляхом да татарвою драться, а у нее на руках – и дети, и хозяйство, «быки та коровы» та «волы крутороги». Надо обо всем подумать, за всем усмотреть – чтоб и «быки та коровы не поздыхали» да чтоб и ее «чорни брови не полиняли»... И вырабатывался из украинской женщины прелестнейший исторический тип – это тип самостоятельной женщины, самостоятельной везде, куда бы ни покатилося ее жизненное колесо: если красота и несчастья родины делали ее «полонянкою», если она попадала в руки какого-нибудь паши-янычара, то и там становилась госпожою, либо – «дивкою бранкою Марусею Богуславною», которая самым пашою заправляла, либо султаншей вроде Роксанды из Рогачева, которая играла судьбою всей Османской Порты, держа в своих красивых руках сердце и волю повелителя правоверных; если же она оставалась дома, то она в общественной жизни имела свой голос, а в семье она властвовала нередко над самим «чоловиком»... Такова была старая Кочубейка...

Тот же тип самостоятельной украинки представляла и Палииха. Московский поп Лукьянов, привыкший видеть московскую боярыню только на исповеди, на смертном одре да в гробу, был поражен тем, что он нашел в Павлолочи. Этим местечком заправляла Палииха: она была и комендантом крепости, и полковником в местечке, и хозяйкою в своем доме.

Едва купеческий караван, с которым Лукьянов следовал из Царьграда в Москву, въехал в Павлолочь и остановился на площади, как тотчас же был окружен любопытствующими казаками, у которых, как они жаловались, от скуки волосы стали прорастать на ладонях, долго, может быть несколько месяцев, не бравших сабель в руки. Лукьянов, который, проезжая в Царьград, видел, как в Павлолочи же его окружили казаки «голы, что бубны, без рубаш, нагие, страшны зело», «все голудьба беспорточная», «черны, что арапы, и лихи, что собаки», замечал теперь, что казаки смотрят уже не «голудьбою беспорточною», а порядочно одетыми, кроме тех, которые, «пропив штаны и сорочку», бродили в чем мать родила, одетые лишь солнечным лучом да кое-где волосами...

– Видкиля, добри люди? – спрашивает один из таких молодцов, одетый лишь в солнечные лучи, подходя к каравану. Хоть он был весь голый, но на голове все-таки красовалась казацкая шапка.

– Из Цареграда, родимый, – отвечает московский купчина, потолкавшийся по белу свету и всего выдавший на своем веку. – Из самой Турской земли.

– Добре... самого бисового сына козолупа бачили?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.